

МИХАИЛ БАРКОВ

Я — ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ...

* * *

Вернёмся, однако, в Мещерские леса. Встретился я с генералом Соколовым на КНП ещё раз месяц спустя после поисков пилота. Можно сказать, почти по героическому случаю. Похвастаюсь.

Вообще-то была у меня давняя идея описать ту замечательную страничку моей жизни, удивительный букет из юности и полётов, чистых и не очень, сложных человеческих взаимоотношений, первой любви и первой разлуки. Не получилось, да и конспекты из училища сгорели. Может, Бог даст, сподоблюсь, всё-таки память ещё многое держит, как будто это было вчера.

Так вот, сначала о “Перине”. Не позывной это был, точнее, и позывной и девушка. Работала она у нас на приводной радиостанции. Ну, Маша-Маша: высокая, фигуристая, глазёнки голубые, да ещё светло-русая коса. Конечно, все от неё млели, особенно комэск второй эскадрильи. Лётчики от лейтенанта и выше, они так считают: все более-менее красивые женщины — их огород. А Маша комэску дала отлуп, причём, как просочилось в народ, — фигурально.

Обиделся комэск, а в те поры стали менять (его меняют периодически) позывной у КНП и радиостанции. Как один из руководителей, предложил он позывной “Перина”. А что, весело! Генерал не вник и утвердил: с юмором, мол, и враг не догадается. И стала бедная девчонка для всех Периной, ведь она отвечала на этот позывной, и сама себя так называла в эфире. Ушла эта кличка даже за пределы аэродрома, в посёлок Шувое, где она жила и куда мы шлялись в самоволки.

Мы с Женькой Морозовым, другом моим лучшим в училище, как-то вечером комэску и сказали: баба вы, товарищ майор. Взвился он, но смекнул, не побежал жаловаться генералу, а нас возненавидел.

Мы, мужчины, если мы, конечно, таковые не только по половому признаку, когда влёткую хамим женщинам, называя их бабами, подумали бы, как им, более слабым, более уязвимым от природы, живётся в нашем мужском, созданном мужчинами и под интересы мужчин мире. И если быть честными, то баб среди нас, мужиков, гораздо больше.

То лето было жарким, а ночи ближе к сентябрю становились прохладными. В топливных танках на аэродроме появился конденсат, который стал попадать в топливо, и машины “чихали”. Особенно отличались 18-я

и 30-я вертушки. Она чихнёт и летит вниз на 10–20 метров, ощущение не из радостных.

Я в тот день работал на 18-й машине в учебной зоне 1А, деревня Ботогово, на всю жизнь запомнил. Высота работы в зоне – полторы тысячи метров, отработывал виражи с креном в 30 и 45 градусов. Неприятными были виражи в 45 градусов, машину трясёт, обороты высокие, чтобы высоту удержать, земля сбоку, кажется, что сваливаешься на хвост. В общем – ужастик.

Слава Богу, что случилось у меня это после выхода из виража. Машину тряхнуло, к чему уже более-менее привыкли, и вдруг... тишина. Точнее, тишины в вертолётe никогда не бывает – движок затих.

Мы посадку на авторотации многократно тренировали, спасибо тебе, Гена Колесников, я автоматом тут же сбросил шаг-газ до упора и триммерами стал пытаться тянуть сваливающуюся в сторону рукоять циклического шага. Ору в эфир: “Перина, я 26-й, 5-й, отказ двигателя!”

Состояние – практически восторженное. Представляю, как на КНП все офицеры забегали, засуетились, как тараканы на дневном свете. По радиции слышу злой окрик:

– В эфире – тишина! Работаем только с 26-м, 5-м!

Вот она, слава!

– 26-й, 5-й, шаг-газ сбросил?

– А как же! (будто я без них не знал...).

Слышу в эфире:

– Имя, как имя, да не фамилию, мать вашу!

И – голос генерала:

– Мишенька (а так меня только мама называла), ты не волнуйся, всё будет хорошо. Давай, сынок, включай воздух, запускай помаленьку.

– Уже нащупал, товарищ генерал!

Нащупал я слева внизу от чашки сиденья насос запуска двигателя ПН-1. Сделать это было непросто. Триммера не помогают, рукоять циклического шага и, соответственно, вертолёт заваливает, я её сдерживаю уже не только рукой, но и ногой, и грудью. Лопасты винта с нулевым углом атаки с жутким шелестом молотят воздух, всё то, что из-за шума двигателя не было раньше слышно, скрипит, дребезжит и стонет. Внутри всё подхватило, как при прыжке с парашютом.

Но не зря нас кормили настоящим мясом, маслом и молоком с окрестных колхозных ферм пять раз в день! Открываю кран ПН-1, добавляю немного газ. Генерал меня словно видит:

– Мишатка, ты газ полный давай, движок-то у тебя горячий.

Совет запоздал, отключаю насос, движок прокрутился вхолостую и – не завёлся. Надо беречь воздух. У меня между жизнью и смертью три маленьких баллона со сжатым воздухом. Слава Богу и технарям: они в тот день были заряжены полностью, хотя бывало и иначе. И аккумулятор работал.

– Сейчас, товарищ генерал, повторю.

Пот залил глаза, ничего не вижу, смахнуть его нечем.

Генерал Соколов никогда не летал на вертолётaх. Просто на наши МИ-1 ставили тогда самолётные поршневые движки, на которых – или на таких же – и дрался в войну старый генерал.

Выворачиваю газ на полную и перехватываю единственной свободной рукой рукоять ПН-1. Свист воздуха, чихание и – рёв ожившего движка!

– Аааа... сука! Прости, родной! Товарищ генерал, завёлся, завёлся!

– Мишаня, ты газ сбрось, а потом тихо добавляй, выравнивай машину. Высота какая?

– Двести метров...

– Вот так потихоньку и иди. Тут тебе пешком до нашего полюшка минут десять. Давай, родимый...

Вспоминая те минуты, с уверенностью скажу: страха не было, был бешеный адреналин, был восторг, упоение от борьбы и нахождения в центре какого-то грандиозного события. Страх не было, была юношеская отчаянность и глупость. Это проходит.

А на КНП было счастье! Сам генерал, Герой Советского Союза меня обнял. Следом Гена Колесников и другие офицеры. Даже комэск второй эскадрильи попытался, но я избежал. Гена Колесников мне потом сказал, что я так счастливо орал в эфире, что у меня отказ двигателя, будто мне Перина свидание назначила.

Генерал, уже на земле, около КНП, пошептавшись с замполитом, взял меня под руку:

– Вот что, Миш, давай не будем афишировать, комиссии всякие понаедут...

– Товарищ генерал, понял, уже всё забыл...

– Молодец! Даю тебе десять суток, поезжай, маму проведай, девчонок потискай...

– Служу Советскому Союзу!

Чуть позже подошёл ко мне мой комэск, первой эскадрильи:

– Какие, на хрен, десять суток, полёты идут. Ты летать хочешь?

– Хочу.

– Тогда сутки тебе неплановые, завтра вечером возвращайся.

– Спасибо, товарищ майор.

Не поехал я в это увольнение. Всё равно нам в выходной давали увольнение, если не проштрафился. Я хотел летать. Я полюбил вертушки. Были они тогда ещё неказистые, маломощные, без особого дизайнера, но наши, родимые.

После того случая подошёл ко мне техник нашего экипажа, мужик смурной, но технику знавший. Ему, как и нескольким другим, включая начальника парка ГСМ, генерал навтыкал по самое некуда.

Сказал мне: “Дурак ты, Мишка. Тебе надо было у генерала медаль требовать, в крайнем случае, часы именные от министра обороны”...

Послал я его вежливо, хотя и был он существенно постарше. Уже тогда понимал, что если Господь погладил тебя, не проси у него на радостях чего-то ещё. Не дёргай за хвост судьбу, даже если она тебе улыбнулась. Жив ведь остался, а это уже такое счастье!

Понимание этого случая пришло позже. Да и Гена Колесников честно сказал в егорьевском ресторане “Цна” после выпуска из училища: не посадил бы ты машину на авторотации, земли бы наелся. Конечно, наелся бы. В воздухе-то ещё удерживал машину, а тут, перед землёй, надо было её выровнять, в 25–30 метрах от земли создать инерцией винта воздушную подушку, перевести вертолёт в планирующий режим и садиться по-самолётному. Конечно, наелся бы земли.

* * *

Страха, животного страха, тогда, действительно, не было. Были молодость и глупость, точнее, глупая неопытность.

Шестнадцать лет спустя я с другом Толей лежал в неглубоком грязном кювете за прошитым очередью “Фиатом” у границы между Южным и Северным Йеменом. Кто нас прихватил – непонятно. На гражданской войне, тем более чужой, не разберёшь, да и не разбираются.

Поначалу было просто страшно: вот так закончить жизнь в маленькой грязной канаве... А потом подступил ужас: из пробитого бензобака “Фиата” стал вытекать бензин и тёк под нас, я уже ощутил вонючую, как смерть, прохладную жидкость у себя под животом. Попытались чуть приподняться и отползть вперёд. Канавка такая, что только-только умещает тело человека. А Толя ещё, мягко говоря, упитанный. Я-то тогда весил 69 кг, сказался “фитнес”: тропики, пустыня и война. А в Союзе было 90 кг мускулов.

Зашевелились мы и – опять очередь. Одна из пуль отрикошетила передо мной о диск переднего колеса, выбила искры, но до бензина они не долетели.

Толя бухтит, что из ПК, судя по звуку, стреляют, очень ценная информация. А меня охватил совершенно животный ужас. Иной раз задумаешься и представляешь варианты своей смерти, но вот так сгореть заживо бензиновым факелом... Я был уже взрослый, состоявшийся мужик, у меня было двое сыновей, и я уже понимал и ценил жизнь.

Нас накрыли из этого ПК ещё раза три, но не зажгли. Мы вжались и не шевелились. Любая новая очередь превратила бы нас в факелы. А бензин вытекал, бак был почти полный. Толя потом сказал, что мы так лежали около часа, а мне показалось – вечность. Это был Бог. Кто-то должен был выжить.

В сумерках подошёл броник правительственных войск, и стрелявшие куда-то пропали. Вылезли мы из кювета и, первым делом, до без трусов, содрали мокрую одежду.

Документы только вытащили – целые остались. Мы их всегда от пота носили в пластиковых пакетиках.

Дали нам арабы какие-то тряпки, только-только прикрыть основные места, и в этом виде ночью мы добрались до Адена, до нашего домика на берегу океана.

Были у Толи стейки из настрелянных ранее в океане кальмаров: если их правильно нарезать, то они на сковородке – как жареная картошка. Нашинковали на тёрке незрелую зелёную папайю – она получается, как капуста. Ни того, ни другого мы там в оригинале не видели. И – напильсь до взвизгивания. Потом пошли на четвереньках купаться в Индийский океан, благо он от нас во время прилива был метрах в 30-ти. Ночь, луница и два голых мужика вползают в полосу прибоя. Было это мероприятие ненамного безопаснее лежания в бензине, но пронесло: утром лежали уже в домике. Как-то по жизни судьба таких вот милует. Но не всегда.

Инструктор когда-то говорил нам, молодым парням: “Мы, ребята, ничего не боимся, мы опасаемся”. Ещё иногда добавлял: “Смерти и глупости”. Правильно говорил: страх – чувство животное, опасение – чувство сознания. Поэтому, когда он сказал мне как-то: “Ты опасливый, Барков, молодец”, я расцвёл. Безбашенной, оторванной смелости, как у Славы Пескаря или у Васи Федоркина, у меня никогда не было. Думаю, поэтому и жив.

* * *

Я никогда не носил голубой берет и тельняшку и никогда не был в Афганистане, но авторитетные люди из десантуры и ветераны-афганцы считали и считают меня своим.

С ВДВ я связан десятилетиями совместной жизни, службы, мужской дружбы и даже родственно. Дорогие моему сердцу мой командующий Шаманов Владимир Анатольевич и мой наставник, советчик, учитель Данильченко Владимир Ананьевич – крёстные моего младшего сына – Володьки. Вовка получился в них: дерзкий, неуступчивый, харизматичный и – душевный до слёз. А главный батюшка ВДВ, отец Михаил, – мой духовник и друг по жизни, дружим своими большими семьями.

Уж коли начал упоминать, вспомню и ещё одного своего наставника – генерала Милованова Виктора Георгиевича. Вспомню Васю Федоркина, Диму Савельева, Андрюшу Соколова, Толю Андропова, Романа Кутузова, Олега Тудрия, Мишу Осипенко, Андрея Горобца, Пашу Волкова, Игоря Сушко и многих других, в том числе и тех, назвать кого не могу. Они, кто полковники, кто генералы, кто рядовые, а название у них одно: десантура.

Хранящиеся у меня памятные медали и знаки от организаций ветеранов Афганистана, строго говоря, не имеют ко мне прямого отношения, но не я их себе выдавал. Ачалов, Гусев, Соколов и другие знали, где я был неподалёку и чем занимался.

Инструктор в подмосковном Центре, куда я попал всё с тем же словом “надо”, был тоже офицер ВДВ – рязанец. И не он один. Но носили мы общевойсковые красные петлицы и погоны, включая инструкторов, о чём они втихую переживали.

Я попал в Центр с опозданием, не к началу потока. Пока оформлялся, ходил по прапорщикам, присматривался, увидел инструктора. Он мне сразу глянул, и парни его реально уважали. У замкомандира Центра, когда определялись с учебной группой, попросился к нему. К удивлению своему, попал, хотя к просьбе моей отнеслись никак.

Где-то через неделю работаем в спортгородке, жара, пот, жажда. А до этого слушали лекцию о психологии внезапного нападения и защиты от него. В спарринге у меня уже неплохо получалось, доволен был, как слон. Подходит инструктор.

– Ну, как, Барков, дела, вижу, получаются...

Не успел я договорить, как я счастлив, мне короткий, но плотный удар в солнечное... Кто знает, тот знает. Слёзы, сопли, спазм дыхания. Чуть опомнившись, хриплю: “За что, товарищ капитан?”...

- А ты что стоишь? Вот он я, что ты стоишь! Чему я тебя и вас учил! Начинаю соображать, но понимаю, что это уже будет поздно и глупо.
- Виноват, товарищ капитан.
- Запомни: сначала мгновенная реакция, потом размышления. Сначала, как рефлекс, потом уже включаешь мозг.
- Запомни: подходит полковник, благодарит за службу, а рука у него в кобуру полезла. Ты ему сначала руку выверни да мордой в землю, а потом спроси, чего он, такой добрый, в кобуру полез.
- С приятелем разлили по второй, взял он нож – колбасу порезать, но взял неправильно, не для колбаски, а для удара. Руку ему выверни, мордой в колбасу, а потом спроси, почему он нож неправильно держит.
- С девушкой расслабились в постельке, она сумочку достаёт, а из сумочки – бритву. Ручку ей выверни, а уж потом спроси, зачем ей в постельке бритва...
- На задании кокон вокруг вас должен быть, запомнили, кокон. Кто в него проникает – сразу ответ!

Обиделся я тогда на него, но он на следующем занятии подошёл и извинился. Я растаял, ничего, мол, наука, но сам опорную ногу назад отставил и доворачиваю корпус чуть боком. Он увидел, рассмеялся: “Вижу, что понял”. Ещё он любил говорить: “Пусть они думают, что они – охотники, а мы – дичь. Пусть так думают”.

Я, как и другие ребята, был бесконечно благодарен этому умному, жёсткому, справедливому офицеру-рязанцу за школу жизни. Она не раз мне спасла здоровье, а может, и жизнь. Назвать я его не могу. Позднее он попал в элиту элит, подразделение по работе с НЯУ. Кто знает, тот знает. А про Анголу я уже упоминал.

Уже много позже, в Штатах, наблюдал я представителей спецподразделений армии США, здоровых, упитанных, накачанных, и мысленно сравнивал их с инструктором. Такие, как они, на марш-бросках загибались первыми. А он был невысокий, и под формой только опытный взгляд мог разглядеть сталь тренированных мышц. На марш-броске он ближе к финишу собирал у наших качков и вешал на себя автоматы, иной раз по 5–7, чтобы группа пришла ровно. А потом в спортгородке “отдыхал”, подтягиваясь раз 30–40 на перекладине, но не к подбородку, а к закривку.

Назвать его Рембо – оскорбить. Стероидная дешёвка Сталлоне укладывал штабелями в соответствующей голливудской хренотени наших солдат в Афгане, а в жизни был неоднократно бит первой женой и в пике популярности ходил с 20-тью телохранителями. В кино они такие: мужественный профиль на фоне заката, а как попали в плен в Ираке, показали их по TV, поднялся визг: не показывайте, не портите картинку!

Шапкозакидательством, конечно, заниматься не надо, ни в коем случае, но думаю и знаю: не с точки зрения матчасти, а с точки зрения солдатского духа – их счастье, что они с нами не сталкивались в открытом бою. Впрочем, нет, как же, в гражданскую в Архангельске, где они, “освободители”, уничтожили в концлагерях около 10 тысяч гражданских лиц, а потом драпанули от плохо вооружённых, плохо одетых и не очень сытых красноармейцев.

Не хотелось бы, чтобы бойцы нашей армии, наших спецподразделений превращались в качков и оковалков.

Серёга и Толя в моём стихотворении “Засобиралась, Богом попросилась...” в прошлом были тоже офицеры-десантники – рязанцы. Серёга – профессор, умница, несколько языков, я с ним был в Ираке, а Толя – пьяница, бретёр и бабник, его я встретил в Йемене. Я их свёл вместе, хотя они друг с другом не встречались. А там, кто знает, неисповедимы пути нашего брата за рубежом.

Лучший друг мой по работе в Штатах, Кожурин Саша, тоже из десантуры. Всех не перечислю, да и не могу, да и не нужно уже.

Поэтому, когда командующий ВДВ, Герой России Шаманов вручал мне ветеранское удостоверение и кортик офицера ВДВ, я не застенялся. Да и больше сотни прыжков тоже что-то значат, представление имею. По моему мнению, и не только моему, ВДВ в России – не только род войск, но это и орден воинского духа, веры, любви к Родине. Я горжусь принадлежностью к нему.

В начале 1980-х, уже взрослым 30-летним мужиком нагрянул я по осени в Андреевское, и пошли мы с дедом на охоту.

Присели на опушке у лесочка Ерденёвка на холме, солнышко греет, хорошо! Дед Кузьма показывает мне на отдельно стоящую на опушке берёзу и спрашивает: “Ну-ка, Мишка, а скажи мне, это что?” Приглядываюсь.

– Ну, – говорю, – дед, берёза как берёза.

– Дурак ты, Мишка, это приполь. А какие ты, учёный, ещё берёзы знаешь? Слегка обиделся, молчу, соображаю.

– Ни хрена ты не знаешь. Давай считай. – И началось: суполь, приполь, борова и т. д., насчитал я 15 сортов.

– А зачем так много, дед?

– Так они же все на разные нужды. Какая на приклад для ружья, какая на берёсту, какая для скипидара, какая на дрова, какая на колесо, а какая на икону...

К чему я это вспомнил...

Все мы, мужчины в особенности, худо-бедно разбираемся в автомобилях. Когда-то мы не хуже (а, наверное, лучше, жизнь заставляла, и станций ТО не было) разбирались в конской упряжи. Только основных её элементов штук двадцать, а каждый ещё состоит из многих, до десятка наименований.

Дед Кузьма знал упряжь досконально. Отец мой мог запрягать, но дедовых знаний, он сам признавал, у него не было. Я, конечно, никакую лошадь не запрягу. Дети мои, особенно младшие, не знают об этом ничего.

Дело не о том, чтобы в нашем, и так перенасыщенном информацией мире вспоминать, что такое хомут, шлея, супонь. А в том, что предки наши не знали планшетоу, не знали многое такое, что нам уже не известно и не доступно. Будем просто уважать их не менее интересные и впечатляющие знания.

Последняя охота деда Кузьмы состоялась, когда ему было уже за 80.

Есть под Андреевским, рядом с селом, знатный лесок Язовка. Кругом все леса выкорчевали, распахали уже сотни лет назад, а этот удержался. Лесок этот особенный, растёт он по склонам крутой ложбины, по дну которой протекает заболоченный ручей. Там, особенно в низине, двух-трёхъярусный лес с подлеском и с болотными кустами и травами по грудь. Летом – просто не проредёшься. Жили там в пору моего детства ласки, куницы, хорьки, енотовидные собаки, а лисы и зайцы и теперь живут. Есть ещё среди леса внушительный заброшенный карьер, где добывали раньше чистейший мелкий песок и белую глину.

В общем, непростой лесок. Уверен, что за две тысячи лет окрестные жители в смутные времена не раз прятались там, да и прятали в нём что-то наверняка. Ближе к Андреевскому погосту лес оголяет крутые овражистые склоны. Вот на этом склоне в феврале месяце дед скатывался на лыжах за зайцем-подранком. Не удержался, упал и – один из самых тяжёлых для пожилых людей – оскольчатый перелом шейки бедренной кости.

Уже вечерело, и его рыжая Моська, покрутившись и поскулив вокруг покаленного деда, рванула домой в Андреевское. Село недалеко, а дом на Украинке – так в Андреевском называют нижнюю часть села у реки. Не потому, что там жили украинцы, а потому, что у края села. Туда было больше двух километров.

Дома были бабка и дядя мой Василий. Моська прибежала и стала царапать в дверь терраски, скулить и лаять. Вася дверь открыл, а Моська через сени в горницу и ну крутиться по бабкиным чистым коврикам. Василий за ухват, материться, а бабка сразу поняла. Никогда дедовы собаки в дом не заходили, жили под домом, в лучшем случае, заглядывали на терраску, порядок был строгий.

– Вась, – говорит, – с дедом беда, собирайся.

Ленив был мой дядя Вася, но сразу тулупчик накинуд и – в валенки.

– Санки, санки возьми!

– На... санки?! – но взял, послушался, бабка как в воду глядела.

Нашли они с Моськой деда по следам уже не на склоне, а метрах в пятистах ниже по руслу замёрзшего ручья. Была уже ночь, и февраль нагуливал последние морозы. Дед выбился из сил, замерзал, но боролся. Так они цугом и дотащили его до дома, где бабка не находила себе места. Василий, дед на санках и Моська позади.

Выкарабкался дед, болел долго, но больше на охоту уже не ходил. Умер он в марте 1986-го, хоронили всем селом и из Лукерьи, Лысцева, Морозовки, Проводника пришли. Знали деда.

Солнышко было, наступила весна. Приехал и я, и брат Василий из Коломны, и много каких-то не известных мне мужиков и женщин. Для меня с дедом Кузьмой, как и с дедом Николаем, ушла эпоха. Эпоха фронтовиков.

Мне думалось, что, не будь Моськи, дед всё равно бы добрался, дополз до дома. Железное было поколение.

А Моська в тот же год в начале зимы погибла, попав под тракторные сани. Сани-то эти с трактором проезжали раз в день, как она умудрилась? Старая уже была.

Мой дядя Вася, сельский циник и охальник, сказал, что она нарочно бросилась: "На... нужна такая жизнь..." Кто знает...

Лет десять спустя был у нас в Вене похожий случай, который мы, сотрудники торгпредства и посольства, воспринимали как комический.

У замторгпреда жил сибирский кот, привезённый из дома, звали его Фриц.

Котяра был ещё тот, дисциплину не уважал, сбегал то и дело со двора торгпредства через въездные ворота и в соседнем сквере, напротив Австрийского телевидения, устраивал загулы с местной котобратией. Австрийские кошки, которых там же выгуливали, рвали шлейки, чтобы пообщаться с Фрицем, а коты прятались за спинами хозяев.

Вполне естественно и законно, что пошли жалобы. Фрица отлавливали, запирали в квартире, а он через какое-то время опять уже шлялся по двору и следил, когда откроются ворота.

Торгпред Фильпин был либерал и демократ, но и его это достало, приказал он после предупреждений кота усыпить. После переговоров с плачем членов семьи, добрый Геннадий Иннокентьевич согласился на вариант кастрации.

Дня два-три после этого Фриц лежал дома, никого к себе не подпускал. Потом всё-таки удрал через окно во двор.

Со слов дежурного по торгпредству, наблюдавшего ситуацию по мониторам, Фриц дождался открытия ворот для въезжавшей машины и выбежал на улицу, Аргентиниерштрассе. Там он пропустил мимо себя несколько легковых автомобилей и бросился под грузовик.

Мужское население представительств смеялось: ну, на фига, действительно, такая жизнь?!

Я много лет спустя, вспомнив, рассказал об этом своей жене Ксюше как юморную историю. А она прослезилась: Фрица жалко.

Ближе они к Богу, женщины. По своей душевной, да и не только, организации мы примитивнее их.

Давайте не будем попадаться на удочку евроменов и евроумен по части примитивного "равенства" женщин. Не в нашей это культуре и традиции. Невозможно уравнивать то, что Богом создано различно. Мы, мужчины, не равняем их себе, мы ставим их выше, мы будем открывать им двери, пропускать вперёд, нести за них вещи, становиться перед ними на колени, беречь, охранять, боготворить. Женщина родила Бога и всех нас. Так считал мой дед Николай.

А на редкие исключения из такого подхода, вы, наши дорогие, не обращайтесь внимания, в семье не без урода.

* * *

Кто-то, думаю, отметил моё частое и почтительное обращение к Богу: не иначе, верующий?

Вопросу, как и ответу на него, тысячи лет, он может быть и очень простой, и бесконечно сложный.

Я — мирской человек. Грешный. Стараюсь по жизни быть лучше. Верую ли я? Да, я человек верующий, верую в Бога, православный.

Меня окрестили в 5 лет в Москве, на Арбате, в церкви Спаса Преображения на Песках. Крёстными моими стали тётя Мила, которая по приезду в Москву к родне забрала меня на время у родителей. И дядя Коля, наш московский родственник, живший неподалёку от храма. Родители мои жили тогда в Реутове, снимали угол.

Вот ведь судьба — кружевница! Спустя годы скитаний по арабским странам и многолетней бездомности я случайно попал на жительство в Реутов. И прожил там до переезда в Москву около 15 лет. В Реутове мой отец учился и окончил школу рабочей молодёжи. Потом в этом здании была спортшкола, куда ходил мой сын Никита, самый спортивный из моих сыновей. В Реутове судьба подарила нам бабушкиного любимчика Витюшку. В Реутове я познакомился с одним из своих ближайших друзей Сашей Ходыревым.

Мы с ним были очень схожи по сельскому происхождению, по неуёмной жажде увидеть большой мир, утвердиться в нём, улучшить его. Саша в 1990-е на пустом месте и, казалось, без денег построил первый в Реутове храм. Я сбоку тоже принёс свои три копейки. Город сейчас не узнать: из серого панельного малоэтажного новоподела он превратился в один из лучших городов-спутников Москвы. Мир тебе, славный город Реутов!

* * *

Думаю, что вера в Бога есть у каждого, в том числе и у атеиста, и у каждого она в чём-то своя. Я к своей осознанной вере пришёл довольно рано, и в стихотворении “Душа” этот эпизод не выдуман. Как, впрочем, и всё остальное в моих стихах. Ночь на звоннице колокольни Андреевской церкви дала мне первые отправные точки в понимании моей веры. Они с возрастом почти не изменились.

Не повлияла на них масса атеистической литературы, которую я читал и по обязанности в своих многочисленных учебных заведениях, и из собственного интереса. Одна из последних — книга “Бог как иллюзия”, где господин Докинз, умнейший дядя, принимает за Бога историю восприятия Бога человечеством. Бог ему судья. Не он первый.

Очень упрощённо, не навязывая никому ничего, порассуждаю на эту вечную тему.

Я верую в Бога потому, что не считаю ни себя, любимого, ни других, возможно, более достойных людей, ни человечество в целом, при всём к ним искреннем уважении, венцом, вершиной Мироздания,

Мне не по душе собственная и человеческая гордыня, эгоизм, всезнайство. Я не верю в сверхчеловека.

С уважением отношусь ко всем религиям, но не принимаю чью-либо монополию на Бога.

Почитаю, но не возвеличиваю Православие как одну из самых гуманных религиозных идеологий и практик. Чту его, как тысячелетнюю традицию моего народа. Когда я осеняю себя крестным знамением, я ощущаю, что многие поколения моих предков делали то же самое в горе и в радости, в счастье новорождения, в любви и скорби, и в свой смертный час.

Убери эту традицию, что останется? Водка, игра на ложах, баня?

Почитаю Церковь, но понимаю, что она состоит из людей и она — не Бог. Понимаю и приемлю роль Православия и Церкви как не только духовной, но и политической скрепы в истории моего народа.

Сейчас у русского Православия наступили трудные времена. После двух десятилетий возрождения и внешнего благоденствия оно несёт тяжёлые утраты и становится гонимым. Но в этом и проявление внимания Божия, Его любви. Верю, оно станет прочнее, чище. Я же воспитан в аксиоме: мы своих не бросаем.

Особая тема — о служителях Церкви. Они разные. Но для меня существуют только те, кто искренне служит и верит.

Это батюшка Леонид, священник Андреевской церкви, по крохам собирающий и порушенные людские души своего бедного прихода, и порушенный храм.

Это батюшка Михаил, священник ВДВ, прыгающий с парашютом, по кирпичикам, молитвой и непреклонной волей собиравший храм для крылатых солдат. Живший в окопах и блиндажах, рисковавший вместе с солдатами, которых поддерживал, врачевал, отпевал. Скрывающий от многочисленной, многодетной семьи тайны своих непростых командировок.

Это соловецкая и валаамская монашеские братии, где на островах мне посчастливилось многократно бывать и внести свою малую толику в возрождение этих святых мест.

Низкий поклон трудоголикам и украшателям земли Валаамской, дорогим мне отцу Ефрему, игумену Мефодию, владыке Панкратию. То, что они с братией сделали на порушенном, опустошённом, поруганном острове, каким я застал его впервые тридцать лет назад, это – чудо.

Отдельно помяну ныне покойного владыку Алексея, настоятеля Ново-Спасского монастыря в Москве.

Вскоре после возвращения из Штатов звонит мне старинный мой друг Манжосин Александр Леонидович, начальник Управления Президента по внешней политике, человек, чрезвычайно много сделавший на этом поприще и трудоголик, каких я больше не видывал. Всех работавших у него я бы сразу записал в мученики письменного стола.

– Заходи, – говорит, – не по телефону.

Пошёл, благо от нас до Кремля было пешком минут 15. Захожу в 14-й корпус, которого уже нет, снесли. К нему, к этому корпусу я ещё вернусь, жаль мне его немного, много там работало друзей, много я туда хаживал. Как обычно, у Манжосина аврал, но переключается на меня:

– Есть такой генерал Решетников...

– Как же, знаю Леонида Петровича, уважаю...

– Тем лучше. Так вот, он ещё и председатель попечительского совета Ново-Спасского монастыря, слышал о таком?

Я не москвич, по Москву люблю и знаю, особенно историю.

– Конечно, это где первые Романовы...

– И это хорошо. Так вот, настоятелем там милейший человек, владыка Алексей. Но вот есть у него такая странность – привередливый больно. Денег от жертвователей не берёт, не подходят они ему, а где нам ему безгрешных взять? Вот Решетников и говорит мне через тебя поговорить на эту тему с Токаревым. Шапочко он его знает, но не так, как ты. А ты у него зам. А то ремонт башни стоит, дыр в бюджете монастыря архисрочных полно... В общем, сделай.

– Попробую, – говорю, – но у нас только название красивое: “Зарубежнефть”, а с финансами не густо.

Действительно, не густо тогда у нас было, и когда я называл свою зарплату коллегам по нефтяному цеху, то или не верили, или хихикали. Это мы потом уже из “Зарубежки” конфетку сделали.

– И ещё, – говорит Манжосин, – к Алексею съездить надо, он на вас взглянуть должен.

– Хорошо, – говорю, а про себя, грешным делом, думаю: может, и станцевать?

Вернулся, пошёл к Токареву, так и так, мол, пересказываю. Николай Петрович Манжосина уважал, Администрацию Президента тоже.

– Ладно, – говорит, – тысяч сто наскребём, но в этом году уже больше никому не поможем. Готовь материалы по переводу.

– Да нет, – говорю, – только переводом не получится, к нему съездить надо...

Посмотрел на меня Токарев – есть у него такой особый взгляд поверх очков, видимо ему та же мысль пришла в голову, что и мне у Манжосина, но согласился.

Созвонился я с монастырём, договорились, приехали. Провели нас монахи к Алексею: невысокий старичок, даже какой-то невзрачный, но взгляд лучистый, умный.

Налили нам простенький чай, дали сушечки постные и потекла беседа. Были мы у него час, хотя Токарев планировал минут десять. Передать эту беседу невозможно: о людях, о жизни, о стране нашей, о мирском и вышнем.

Были бы дольше, но сам же Алексей эту беседу прервал, поблагодарили мы друг друга, едем в машине обратно. Николай Петрович, человек непростой, побывавший везде и повидавший всего, мало что берущий на веру,

сидит рядом и рассуждает вслух сам с собой: денег у нас, конечно, нет, но я достану ему миллион. Займу, но достану. . .

Самое интересное, что во время беседы владыка Алексей ни вполслова, ни намёком не сказал нам, что монастырю нужны деньги.

Достали мы им миллион, перевели, принял монастырь. Я вошёл в состав попечительского совета, и ещё не раз, в меру наших возможностей, мы помогали монастырю. А я, к сожалению, не часто, но имел возможность общаться с этим удивительным человеком, владыкой Алексием, а также и с интересными, одухотворёнными людьми из состава совета, которых свело воедино притяжение владыки. Там же судьба свела меня с близким моим другом и коллегой Симоненко Сергеем Юрьевичем.

Смерть владыки потрясла нас. Пришли другие люди. Ничего не буду о них говорить, просто другие. Мы с Решетниковым тоже оказались привередливыми и через некоторое время покинули состав совета. Тем более что дела со спонсорской помощью пошли там гораздо лучше.

Ни записывать, ни, тем более, писать на диктофон Алексея было невозможно. Что-то запомнилось, что-то по следам бесед пометил. Это от него я в стихотворении о “последнем солдате” вставил потом строчку, что храмы пустыми стояли.

Что-то воспроизведу по памяти, может, и до него это кто-то сказал, может, и не вполне точно, не обессудьте: “Ложь – это грибок, плесень. Идеи, даже самые хорошие, обрастают ложью.

Мы любим и глупости за то, что они с нами были.

Есть в нас черта: назло хорошему.

Господь награждает и наказывает не тех, кто заслужил, а тех, кого нужно Его промыслу, не ведомому нам.

Не они сильны, а мы слабы.

Я всего боюсь, но я должен утомиться собой.

Господи, избавь меня от меня.

При разномыслии – самое главное – не должна теряться любовь.

Разве волос не упадёт с головы без Бога?

Есть коренное отличие США от Европы и России: они не страдали.

Малая толика зла в короткий период может разрушить создаваемое веками.

Они будут выдавать акт разрушения за акт созидания, равноценный созиданию”.

И напоследок – анекдот от владыки.

Встретились на меже между двумя деревнями две бабки. Одна говорит другой:

– Наш-то батюшка холёный да красивый, не то, что ваш – смурной.

Другая бабка не отвечает.

– У нашего-то батюшки дом под медью сделали – загляденье, а ваш-то шифер новый никак не купит!

Другая бабка насупилась, но молчит. А первая опять:

– Нашему-то батюшке спонсоры машину подарили, “Аудю”, а у твоего, небось, и кобылы-то нет. . .

Тут вторая бабка и заговорила:

– Зато наш батюшка в Бога верует!

Завершая неисчерпаемую религиозную тему, я, грешный, высказал бы ещё две мысли, дерзкие и, наверное, крамольные, за которые кто-то из вас меня может осудить. Простите.

Первое. Размышляя над историей социальных экспериментов в чужих странах и в своей стране, побродяжив по миру и насмотревшись всего, глядя на ныне живущих, в частности, на то, что сотворили с чудесной, благоухающей страной Сирией, где я бывал когда-то, я бы, ничтоже сумняшеся, покайся и перекрестившись многократно, предложил бы, вслед за попытками многих великих, не чета мне, грешному, ещё одну заповедь: “Не разрушай”.

Или, в менее широком, уточняющем смысле: “Не разрушай созданного человеком”.

Второе, не столь дерзновенное, более приземлённое предложение о снесённом 14-м корпусе Кремля. Разное говорят, что сделать на месте теперь уже парка, чаще – о восстановлении порушенных монастырей. Разумно, но. . . разрушали-то их мы. Сами разрушали. Я бы предложил другое, и не обязательно на этом месте, хотя других в Кремле почти нет, а в принципе.

Прости меня, Господи за все и, прежде всего, за гордыню.

1970-е годы, лучшие, на мой взгляд, годы Союза, совпали у меня и с лучшим периодом в жизни — годами учёбы. В начале 1970-х, будучи слушателем военно-учебного заведения, я довольно часто в увольнениях ходил по московским театрам. Нас, ребят в форме, курсантов, слушателей, пускали по контрамарке постоять в проходе практически во все основные театры, даже иногда на “Таганку”. Ну, разумеется, кроме Большого, Малого и ещё нескольких, куда за валюту ходили иностранцы.

Ломились тогда на “Таганку” по-страшному: попасть туда можно было или за большие деньги, или по блату. Народным по публике он никогда не был. Несмотря на флёр диссидентства, он был театром элиты и для элиты. Основными зрителями были номенклатура, торгаши и хорошо оплачиваемая интеллигенция. Думаю, что в большинстве своём — члены партии.

У меня было сложное отношение к этому театру и его публике. С одной стороны, я видел сумасшедшее, на разрыв, исполнение Высоцким роли Хлопуши в “Пугачёве” и талантливое неистовство Хмельницкого. С другой — видел интерес многих не к игре актёров, а к “изюминкам”, на чём зачастую и играл с публикой Любимов. И на чём ему, вхожему в “инстанции”, позволяли играть.

В “Пугачёве” этой изюминкой была строчка об Екатерине II: “...чтоб с престола какая-то б... могла управлять государством”. Сначала это слово давали вживую, потом было запрещено, и вместо этого “б...” звучал удар колокола. Как сейчас, к примеру, “запикивают” мат в кино и на TV. И до, и после в антракте, в фойе, в коридорах в публике перешёптывались: “Вот, вот, будет”; — а потом: “Вы слышали?.. Это же...” — и самые смелые делали намёк, закатывая глаза вверх. Как-то жалко весь этот цирк смотрелся, особенно в исполнении номенклатурных чиновников с партбилетами в карманах.

Моим походам в театр на Таганке я и посвятил одноимённое стихотворение.

Тогда же околобогемные приятели, зная о моей любви к Есенину, познакомили меня со стареньким неухоженным художником дядей Лёшей. Был он, наверное, и не очень старенький, но спивался безнадежно, отчего вскоре и умер. В двадцатые-тридцатые годы, будучи молодым и повернутым на запрещённом тогда Есенине, он собирал песни и романсы на стихи Есенина. Недурно играл на семиструнной гитаре и не так хорошо, но с душой пел.

У него я услышал около трёх десятков таких романсов и песен, не слышанных мною никогда ни ранее, ни позднее. Десятилетиями позже набренчал, напел их Лёше Верному, он загорелся, многое ему понравилось, думали сделать диск, но вскоре он и сам умер. Уйду я, и они уйдут со мной. Немного жаль.

В университетскую вольницу я сделал несколько песен для студенческого театра МГУ, в сборнике я их помечаяю. Пору студенчества, незабвенную, с предельной энергетикой жизни, с пренебрежением к каким-либо запретам и авторитетам, бурлившую идеями и сумасбродством, я надеюсь, опишу как-нибудь отдельно. Эту пору оболгали, завесили от ныне живущих молодых всякой хренью — дескать, ходили мы по струнке, сверяли каждый чих с парткомом, дарили любимым кусок сыра и туалетную бумагу...

Я считаю 1970-е годы в молодёжной среде более раскованными, светящимися интеллектом, счастьем жить в великой стране и готовиться вершить великие дела, чем нынешние. В 1970-е в Союзе практически не было политзаключённых, и это было реально. Потом их число только увеличивалось.

Простите за нудность, но упомяну мою студенческую братию, хотелось бы всех, но, без обиды, всех, конечно, не смогу.

Нет уже моего мудрого и верного Сан Саныча, дорогого мне Вити Хадеева, ушли красавчик-атлет Коля Афанасьев, харизматичный Володя Комиссаров, наш “ботаник” Сережа Бекедов, умница Толя Рябко, добрый Саша Алдусев...

Слава Богу, живы мой лучший университетский друг, лабух Слава Егоров (как тебе, Славка, в Швейцарии, я там, не обижайся, скажу честно, помер бы от тоски), самый честный мент Союза, генерал Володя Климов, лобастый

крепыш Володя Ильичёв, наш Штирлиц Боря Сенцов, красавчик, умница и пьяница Серега Забарин (прости, Серый, я тоже не ангел), прожженный циник и скептик Володя Кизяковский, красивые, хулиганистые оторвы Танюша Шубина и Валюта Ширяева, умница, красавица Олечка Левина, чопорная, надменная и ранимая Наташа Кузнецова, девочка-статуэтка Наташенька Субеева, застенчивая и хрупкая Танюша Синицина, снежно-красивая и недоступная Иришка Дорохова, комсомолка, спортсменка, красавица Наташа Чистякова (сколько, однако, Наташ у нас было!), грустный, не от мира сего Володя Мельник, дерзкий и независимый Володя Бойко, мудрый и степенный Магомед Каратаев, упрямый и жёсткий Стас Смирнов, земляк и друг мой по жизни Саша Федин...

И это они-то были дрожащими винтиками тоталитарного режима, ходили по ниточке, протянутой парткомом?! Да ладно!

* * *

Так уж сложилось, что мне довелось общаться и работать со всеми четырьмя советско-российскими президентами. Скажет кто-то, что, мол, эх, хвастанул, дескать, я и Пушкин. Думаю, уверен, любому человеку можно и нужно говорить и судить о лидерах – это признак здорового общества. Главное, чтобы без заведомой лжи и хамства. Но и стесняться я тоже не буду.

В начале 1980-х мотался я в служебных командировках по Союзу, как самый молодой в главке, в основном по Заполярью, Сибири, Дальнему Востоку. А также по центральному нашему Невезенью. Потом допустили уже и на Украину, в Прибалтику, на юга. Что могу сказать? Лучше всего жили на Украине, в Прибалтике и Грузии. Хуже всего – в центральных областях России, кроме Московской. Судил по магазинам, домам, дорогам, наличию машин, земельных участков, дач, объектов культуры.

Был навсегда очарован природой страны, особенно, величием планеты Сибирь, Байкалом, Ороном, плато Путорана, Венчальным уловом, Парамским порогом – всего и не перечислишь. Не умеем мы до сих пор подать эту красоту, это величие, этот размах. Смотрим в кино и ахаем на американские столбы с разных ракурсов или новозеландскую долину с разных склонов. У нас есть места куда как покруче...

Когда умер Брежнев, я был в Москве, направили на усиление. В последний день прощания нам, обеспечивавшим втихую порядок в Колонном зале Дома Союзов, оказали честь уже ночью перед похоронами постоять в почётном карауле у гроба. Не всем, правда, но мне повезло. Постоял три минуты около Леонида Ильича, подумал, что если бы он не пересидел, то не было бы к нему никаких серьёзных претензий. В политике, как и в спорте, уходить надо вовремя. На следующий день, в день похорон, я шёл по Ленинскому проспекту. В 12 дня машины остановились, загудели, останавливались и люди, кто-то крестился, отовсюду неслись гудки заводов, ревуны кораблей с Москвы-реки. Народ переживал реально. Чувствовалось, что накатывается новая эпоха, смутная, непонятная.

Вскоре после прихода в генсеки Андропова началась работа по созданию блока законов, которые ещё до их принятия уже называли “андроповскими” и которые в большинстве своём так и остались проектами или идеями.

Меня откомандировали в аппарат Комиссии законодательных предположений, которую возглавлял Горбачёв и где я его многократно наблюдал. Видел несколько раз и Андропова, присутствовал при его избрании в 1983-м Председателем Президиума ВС СССР, храню как реликвию приглашение – пропуск в зал.

Горбачёв уже был популярен. В основе его популярности была всеобщая надежда на изменения к лучшему, но лучшее это всем рисовалось по-разному. Под обаяние этой надежды попал и я.

Было два-три заметных эпизода моего тогдашнего наблюдения за Горбачёвым. Был он косноязычен, но это ему прощали: как же, без бумажки! Я из любопытства и для истории стал за ним записывать. Это заметил невзрачный человек, прогуливавшийся вдоль стены, и после заседания я получил отеческий втык от начальника аппарата.

В другой раз как-то на заседании один из членов комиссии усомнился в необходимости частого упоминания в законопроектах социалистических мантр о законности, правопорядке, сознании и т. д. Разумно, зачем отягочать текст, сказал один раз — и хватит.

Тут вдруг Горбачёв как заорал... Именно заорал, а не закричал:

— Вы что, сомневаетесь в устоях социализма?! Может, и роль партии вам уже не по душе?!..

Несколько минут так и орал в самом ортодоксальном духе. Все опешили, а он, выпустив пар, ушёл. Ничего себе, думаю, либерал.

Но мужику этому, попавшему под паровоз, ничего не сделали, как работал, так и продолжал работать.

А следующий эпизод был для меня, можно сказать, лично историческим, сыграли гены деревенского хулигана. Денёк был солнечным, настроение хорошее. Вошел Горбачёв в зал заседаний, пошёл мимо нас, экспертов, все встали к стеночке прижались. Горбачёв привычно кивал, но лично он здоровался только с теми, кто сидел с ним рядом во главе стола.

Подходит ко мне, улыбается, я подаюсь чуть вперёд, спрашиваю:

— Михаил Сергеевич, можно пожать вам руку?

И протягиваю свою.

Горбачёв чуть замешкался, а два мужика, что всё время за ним ходили, сразу взяли нас в полукольцо. Невзрачные, но жилистые и резкие, как и положено в “девятке”, это потом Раиса стала утверждать мужу фактурных и презентабельных.

Поздоровался Горбачёв. Хорошо помню его руку: тёплая, вялая и чуть влажная.

“Девятчники” зыркнули на меня зло, но это не могло помешать моему счастью. Как же, с Горбачёвым за руку..

Вечером был разбор полётов у начальника управления. Не злой, но с матерком. Всё понял, нельзя молодому коммунисту руку протягивать аж члену Политбюро, надежде партии. Никак на мне это не сказалося, а через несколько месяцев, когда Андропов был уже совсем плох, работы по его законопроектам фактически свернули. Горбачёв не появлялся, а меня вызвали в первый отдел.

— Ознакомься, тебе благодарность от Горбачёва. Секретно, так как подпись члена Политбюро. Ознакомься — и уйдёт в твоё дело.

* * *

В конце марта 1985-го, после избрания Горбачёва генсеком, заявился я в Андреевское. Молодой, довольный собой, перспективный функционер. Как же, наша взяла, наконец-то молодой у руля появился.

— Вот, — говорю, — бабуль, Горбачёв теперь у нас.

А бабушка взяла, да и заплакала:

— Не к добру это, — говорит.

— Да ты что, бабуль! — удивляюсь я. — Нормальный он мужик, наш человек, смотри, вон, нос картошкой...

А бабуля тихо сказала:

— Меченый он. Дьяволом. Беда будет.

Потешал я её, а в душе посмеялся. Поехал к деду Кузьме, он тогда в Федосьино в больнице лежал. Плох уже был дед.

— Слыхал, дед?.. — и так далее.

— Пошли они все на... — сказал дед Кузьма и отвернулся.

Не переубедили они меня, уехал я в Москву по-прежнему в радужных надеждах.

Все мы тогда или почти все понимали необходимость перемен и рисовали зарю на холсте. Суть же происходившего, на мой взгляд, была в следующем.

Есть у вас большой, крепкий дом, большая семья, много лет вы живёте вместе. Время идёт, пора бы сделать ремонт: там двери перевесить, там стропила заменить, а там — и стенку переложить по-новому, удобнее сделать. Не косметический, а капитальный.

Приглашаете вы прораба с бригадой, аванс ему даёте, он вам под этот аванс сказки рассказывает. Ну, и началось: шум, грохот, пыль, понятное дело, ремонт, потерпим.

Только в один не очень прекрасный день, вы видите, что вместо ремонта вам стены завалили, крышу обрушили, да ещё и ребёнка вашего придавили. Вместо вашего дома – развалины, да их ещё и подожгли. А “добрые соседи” днём ручкой вам машут, сочувствуют, а по ночам с керосинчиком по развалинам бегают, подливают, чтоб посильнее разгоралось.

Долдон-прораб и сам за забор перебежал, к соседям. И оттуда руки разводит, точнее, одну руку, другую в кармане держит, на бабках, что от “добрых соседей” получил, я, мол, чо, я, мол, ничо. Хотел, как лучше.

Хорош ремонт? Хорош прораб?

Коммунисты во многом ошибались, не они одни, но одна из ключевых ошибок – взгляды на роль личности в истории. Кивали на всепобеждающее учение, на партию, на массы, на рабочий класс (где он?) и отвергали роль предателя и дурака. А зря. Уверен, другой лидер, как тот же Путин, не допустил бы крушения Союза, а сказки о “неизбежном крахе”, “тупиковой ветви” – для слабоумных. Есть много красивых и глупых фраз: “рукописи не горят” (одна только Александрийская библиотека во что обошлась человечеству!), “народ победить нельзя” (а вся история – это победа одних народов над другими, и многие, в том числе великие, народы просто исчезли) и т. д. Так же про “тупиковую ветвь”... Что, Древние Рим и Греция тоже были “тупиковыми”? Просвещённый Запад их наследием живёт до сих пор и их наследием разговаривает, поскольку в основе большинства их языков – латынь. И наследием Союза мы до сих пор живём, и не одни мы будем жить ещё десятилетия, а то и больше.

Говорят, вот пыль уляжется, время пройдёт, Горбачёва оценят. Как же хорошо, что он в выборах поучаствовал, оценили. Менее 1 процента – на уровне статистической погрешности...

А ещё, уверен, оценят, и не только у нас, роль ушедшей в историю великой страны. И этой оценкой будет восхищение и сожаление.

Могло быть иначе? Могло. Сделали мы выводы? Думаю, сделали. Надеюсь.

* * *

Везло мне в жизни на талантливых людей. Не тех, кто в свете юпитеров, хотя их тоже уважаю, а тех, кто под этот свет по разным причинам не попали, но которые не менее талантливы и живут рядом, среди нас, порою не замечаемые и не оцененные.

Упомяну только двоих, и так расписался. Саша Сурков и Лёша Верный. Да, уже упоминал и чуть уже затронул брата Василия Каштанова

Саша Сурков (Санчо) так же, как и я, босоногим белобрысым мальчуганом ловил корзинкой пескарей и плотву в четырёх километрах от моего Андреевского, ниже по течению Коломенки в селе Лысцево.

Вот как сельский парнишка на первых (и, наверное, последних) действительно народных выборах 1990 года стал народным депутатом Верховного совета РСФСР от такого крупного промышленного центра, как Коломна?

Его знали, его уважали, его любили. Без продажной прессы, без административного ресурса и высоких указаний. Пересказывать его биографию не буду, захотите – ткните в поисковик.

Это друг. Детства, юности, по жизни. Умная, тонкая, ранимая, застенчивая душа поэта с четвёртым даном по карате. Мятушная, ищущая, обречённо русская. Бог знает, кто из нас раньше уйдёт, но для меня часть моей жизни, меня самого обрушится... Живи, Саш.

Летом 1986-го, в начале, привёз ему в Лысцево показать посвящённое ему, думаю, лучшее моё стихотворение “Андреевское” 1986 года. Чувствовал, что удалось, так мне хотелось им поделиться, уже тогда решил, что, если ему понравится, ему и посвящу. Привёз, конечно, не только стихотворение. Расположились мы под вишнями, благо его Галочка, не всегда одобрявшая мои визиты, изволила где-то отсутствовать. О стихотворении пока помалкиваю, прием сначала... Вдруг – стук в калитку; торчит голова местного деда Щукаря,

которые есть, наверное, в каждом русском селе. Как звали, уже точно не помню, по-моему, Захарыч. Был у него к таланту побалагурить ещё удивительный талант почувствовать, где будут выпивать. Мы старость уважали, наливали ему, когда у самих было. А тут – машу ему: потом, мол, заняты, дай с другом поговорить.

Санчо, добрая душа, приглядывается.

– Знаешь, – говорит, – что-то случилось у Захарыча, давай его пустим...

– Случилось, – говорю, – выпить хочет. Я же к тебе приехал, не к Захарычу, дело у меня...

– Нет, – гнёт Санчо, – извини, брат, но не в себе Захарыч, обидим старика, а помрёт вдруг, не по-божески как-то...

Махнул я рукой – испортили праздник:

– Запускай, Лёша Карамазов...

Видим, на Захарыче, действительно, лица нет.

– Вот, – говорит, – погиб Полкаша-то мой. Теперь уж, чувствую, и мой черёд подходит. Единственный был, кто меня по правде уважал.

Был у него здоровенный лохматый кобель-дворник по имени Полкан, такой же неустроенный шатун, как и его хозяин.

– Да, как же так, Захарыч, давай садись, рассказывай. Будешь по маленькой?

Захарыч реально чуть не плачет.

– Так ведь на нашей ферме (мать её), наш ханурик-электрик (мать его) провода оголённые (мать их) оставил. Столб бетонный (мать его), роса по утрам. Полкаша-то не знал, подошёл к столбу пописать. А там – промышленное напряжение (мать его) и – рвануло...

У Захарыча слёзы.

– И сильно?

– Вдребезги! Яйца на проводах висят, хрен метров на пять отлетел. Нет Полкаши...

Санчо наливает Захарычу первому, он сентиментальный, доверчивый, но даже я купился. С одной стороны, жалко старика, с другой – смехом давимся.

– Да, жисть, помянем друга человека, – говорит просветлённый Захарыч.

Наливаем по второй, забегают Полкан, нарезает вокруг нас круги и пристраивается к стволу вишни...

– Захарыч! Смотри!

– Полкаша, друг! Не зря ж люди говорят, что как на собаке заживает!

Налили Захарычу и по третьей – за талант.

Я и сейчас улыбаюсь, через годы. А был бы ты, Саш, чёрствый, не отзвучивый, скупой – и не улыбался бы.

* * *

Есть боль невозвратности жизни. Подстерегает она нас всегда, но, слава Богу, не каждый день.

Мы все всё понимаем: да, живём, да, умрём – все там будем. Но на каком-то повороте своей или чужой судьбы берёт она нас за горло, прижимает к стенке, и выть хочется. Только плачь, не плачь, всё равно ничего не вернуть.

Лёша Верный. Для меня это имя – безнадёга потери и бесполезного раскаяния. Трепетала рядом ранимая, бесконечно чистая и влюблённая в этот мир, в нашу землю, в нас с вами душа. Недоедала, недосыпала, замерзала, сводила себя с ума от красоты и вопиющей несправедливости этого чудесного мира. И нет её.

А ведь я мог, мог что-то ещё сделать. Не семья, не друзья, его деревенские или коломенские, мягко говоря, не шиковавшие по нынешней жизни. А именно я, тогда вице-президент одной из крупнейших российских компаний, – мог. Делал, да не доделал.

Сейчас посмотришь в интернете, как у Лёши все сладко и складно. Нет, никого не виню. Но себе – не прощаю.

Меня познакомил с ним Санчо, знавший всех и вся. Слышать-то я о Лёше слышал, наезжал изредка в Константиново на родину Есенина, купил там

диск. В машине поставил, начало не понравилось. Голос хороший, но малость слащавый, исполнение псевдонародное, лубочное, да и псевдоним с претензией, как газета “Правда”, не по жизни. Переключил на радио и – забыл.

Осенью 2011 года стал готовиться к юбилею. Решил – только в Коломне. А поскольку гости почти все предполагались из Москвы, надо их было чем-то удивлять. Коломенским. Брат Каштан и Санчо помогли. Тут и всплыл через Санчо Лёша Верный, он его и предложил.

– Мужик, – рекомендует Санчо, – что надо, Голосище – во! И душа, брат, душа у него... Наш человек. Он ко мне недавно на мой день рождения из психушки сбежал. Звонит, говорит, ничего, что я к тебе в халате и тапочках приеду, одежду изверги спрятали.

– Саш, – говорю, – а почему он в психушке? У него что, проблемы?

– Да нормальный он мужик! Он туда отдыхать иногда ложится. Подкормиться, посочинять. Пообщаться с нормальными-то людьми. А потом – опять к нам...

– А это что, больница? Почему ты её психушкой называешь?

– Психушка и есть. Шестая больница, психдиспансер. Весь город знает. Много великих людей там лежало. Хочешь частушку про больницу?

– Давай.

— *В Колычёво есть больница —
Не пойду туда лечиться:
Там лежит один калека —
Убил ...ем человека!*

– А? Как?

– Годится. Ты мне встречу организуешь в следующий выходной?

– Всенепременно. Если что, и из психушки сбежим. Я его там подменю.

Встречаемся через неделю в ресторанчике в Коломенском кремле. Лёша опрятно, по-скромному одет, лицо, как бы сказали, очень русское, у ирландцев, кстати, такие типажи часто встречаются. Блондинистый, глаза умные, доверчивые. Выпить отказался, мы с Санчо тоже не стали.

С собой у Лёши гитара и гармошка.

– На чём будем пробовать?

– Конечно, гармошка. Я гармошку со времён деда Кузьмы не слышал.

Заиграл Лёша и запел. И забрался он тогда мне в душу и поселился там навсегда.

Однозначно, непременно приглашаю его спеть в декабре. Соглашается, но... “Если не подохну к тому времени”.

– Что так? Молодой, здоровый.

– А у меня, – говорит, – колонка газовая в доме накрылась, и дров нет. И не предвидится.

– Так, – говорю, – новую купи.

– Было б на что – купил бы.

– Ну, ты же с кем-то живёшь?..

– Один живу, нет у меня никого. Жена бросила – и правильно сделала.

Зачем я ей такой нужен?

Спрашиваю:

– Сколько стоит колонка?

Называет примерно. Достаю деньги. Не берёт.

– С какой стати?

– Так это аванс. За выступление.

– Нет, – говорит, – мои выступления столько не стоят.

Ну, я переговорщик хороший, доказывал это на разных континентах.

– Нет, – говорю, – любезнейший, не вмешивайся в мою компетенцию.

Я – заказчик, ты – исполнитель. Я определяю цену, я и рынок. Я московскую рыночную цену твоего голоса знаю. Послушал и – знаю. И вы меня вашими коломенскими фенечками не давите, я из Москвы приехал. Я, между прочим, у вас гость, у меня юбилей на носу, а ты мне его сорвать собираешься...

Берёт Лёша растерянно деньги, задавил я его. Не считая, а там больше было. Но поезд уже ушёл.

Он, конечно, на моем юбилее был лучший. Некоторые мои московские друзья с того вечера, узнав через три года о его смерти, поехали на его похороны в Черкизово – не ближний свет.

Общались мы с ним урывками ровно три года. И я бывал у него, и в Андреевское мы были (он у меня там даже и пожил немного, понравилось ему Андреевское), и у Санчо, и в Константинове, и ко мне в Москву он приезжал. Помогал я ему, как мог, хотя мог бы и больше. С его характером и принципами это было непросто, приходилось придумывать какие-то схемы, уловки, чтобы его не обидеть. К сожалению, не знал о его проблемах со здоровьем, он не говорил.

При мне он вновь сошёлся с Ларисой и был счастлив. Дочурку свою, Танюшку, боготворил.

Оказалось, что Лёша, действительно, по жизни – Верный. Он был крепкий, симпатичный мужик, а когда начинал петь, в него невозможно было не влюбиться. Я и Санчо его подкалывали, бывало, по поводу женского пола, видели женские взгляды, обращённые к нему, комментировали, а он обижался. Хотя он мне и говорил об этом, а я, честно сказать, не верил, что он любит только свою жену, однолюб. Не сразу, но я понял и поверил уже сам. Действительно – Верный.

Подвозил я его несколько раз в Коломне на какие-то музыкальные халтуры, ему – работа, а мне интересно. Как-то спел он на загородной свадьбе несколько песен, возвращается ко мне в машину довольный – хорошо пелось. Спрашиваю его из любопытства:

– И почём нынче искусство?

Хлопает себя по карманам – нет ничего. Смеётся:

– Сегодня нипочем.

Я удивляюсь:

– А как же ты договаривался?

– Не договариваюсь я никогда. И не прошу. Что мне в карман сунут – потом нахожу. Мне в радость людей веселить. Может, это я им за это приплачивать должен. Были бы у меня деньги – я бы так и делал.

В другой раз возвращается к машине, а был я на 570-м “Лексусе”, весёлый, смеётся:

– Знаешь, что мне сказали?

– Ну?

– Ты, говорят, на такой машине с водителем приехал, ты бы сам нам помог деньгами-то...

Не опишешь всего, да и нет уже ни времени, ни места.

Как-то зашёл разговор о моих стихах и песнях, Санчо три копейки вставил. Дал я Лёхе посмотреть, что было. Хорошо отозвался, а лукавить, тем более льстить, он от природы не мог. Взял он кусок из “Андреевского” 1986 года и написал на него песню. Здорово получилось, гораздо лучше, чем у меня. Он говорил мне потом, что исполнял эту вещь неоднократно, и она людям нравилась. Поэтому я её, эту песню, отдельно в сборнике и выделил. Ещё он классно исполнял “Первоснежье”.

После этого успеха задумал он сделать диск с моими песнями в его исполнении. Закупили для этого необходимое оборудование, но не успели. После Лёшиной смерти, когда печаль поутихла, вспомнилась эта идея (его идея). Подумал я обратиться к кому-то из друзей-музыкантов, скорее всего, к Диме Маликову – соорудить такой диск. А потом пришла в голову умная мысль: зачем мне, седому, это надо? Что прошло, то прошло.

Утешением для меня стали слова Ларисы на вечере памяти Алексея Верного, что он ценил нашу с ним дружбу. Как же расточительно мало ценим мы удивительных людей, живущих рядом, и только с их уходом понимаем это.

* * *

В арабских странах я не был только в Марокко и Тунисе. В Европе не был только в Норвегии и Дании, в Азии и Африке побывал в большинстве заметных стран, с Америкой похуже, был только в Штатах и в Венесуэле, а до Австралии так и не добрался.

Спросят меня: кого бы ты выделил, кто тебе больше понравился? Отвечу: не знаю. Никого бы не стал выделять. Похожего у нас больше, гораздо больше. Потом, ещё подумав, сказал бы, что по коренным, стержневым чертам – все мы одинаковые, все мы люди. А потом, ещё подумав, назвал бы всё-та-

ки арабов горного Йемена и чукчей. И пусть выдающиеся титульные нации не обижаются.

К горным йеменцам я первый раз попал по случаю. Несчастному. Водитель нашего тягача на дороге через горную деревушку задавил арабского мужика. Ничего он не мог сделать, выскочил тот сбоку прямо перед ним. То ли ката нажевался (есть у них такой слабый наркотик, типа бетеля), то ли замечтался, то ли судьба такая.

Вызывает меня начальник, так, мол, и так, на тебе две тысячи бакинских, говорят, достаточно. Езжай в семью к усопшему, извинись, ну, это, ты сможешь, язык у тебя подвешенный. И – поторгуйся. Сможешь дать меньше – молодец.

– Есть, – говорю, – поторгуюсь.

Всем известно, что арабы – торгаши.

Я в быту-то торговаться не люблю и не умею, натура такая, а когда за интересы Отчества – торговался за милую душу, за горло брал.

Звоню своему арабскому другу Али, прокурору района:

“Салам на вас, поможешь, не был там ни разу”.

Али с кем-то согласовывает, перезванивает, едем. Часа через три от Адена начинаются фантастические, то ли марсианские, то ли лунные пейзажи. Красивая страна Йемен и несчастная. Как вьетнамцы тысячу лет воюют, так и эти примерно так же. Во Вьетнам сейчас, слава Богу, турист потянулся, природа там уникальная. Очень надеюсь, что когда-нибудь туристы поедут и в Йемен.

Приехали, чудные глинобитные дома в несколько этажей. Слышал, что у них эти мазанки даже в 10 этажей бывают. Живут там несколько семей, всем родом.

Я заранее разложил деньги в два конверта. Начну с тысячи, может и уболтаю. Нет, буду из другого конверта докладывать.

Заходим во двор, Али просит подождать, надо старейшине доложить, что незваный гость. Ушёл Али, и тут же во дворе началось движение: тётки в чёрном забегали, малышня высыпала, окружили, но не подходят. Я с детьми всегда легко контакт находил, не зря Господь мне шестерых подарил. Тем более что заговорил с ними по-арабски. У них – восторг.

– Ты, дядя, кто? Ты откуда? Это твоя машина?

– Из Союза, – говорю, – советский.

Они ещё больше обрадовались, кричат тёткам:

– Рус! Рус!

Мы по всему миру насаждали, что мы советские, а нас чаще всего называли русскими: и братьев-хохлов, и грузин, и прибалтов, и евреев, и молдаван. Таджик у нас был, переводчик при советнике – и он в русских ходил. Ну, татары, они и так всегда русские.

Детишки вокруг меня – мелочь пузатая, пацанчики. Одеты бедно, но опрятно. А вот девчушки в сторонке стоят, не подходят – те разодеты. У них культ детей, особенно девочек. И побрякушки у них уже золотые, и платица, как на невесте, и бантики – куколки!

Вот, думаю, в этой куче и трое мелких, папу которых мы задавили. Поднял портфель повыше и потихоньку, чтобы не видели, переложил деньги в один конверт. Перебьёшься, начальник.

А в портфеле ещё и сволочная бумага лежит, что претензий у семьи нет.

Зовут в дом. Оказывается, пока я там детвору развлекал, они за пять минут столики с угощением для меня и для Али приготовили. Чайники, кофейники, сухофрукты, сладости всякие. У нескольких стариков напротив, что тоже уселись за столики, – только чай или кофе. Мужики помоложе стоят, за их спинами женщины поглядывают. А одна у стены сидит, понял – вдова. В чёрном вся, только глаза зарёванные видны, и три пацанёнка к ней жмутся.

Ну, думаю, правильно Бог надоумил в один конверт сложить. Для тогдашнего Йемена, жившего в условиях перманентной гражданской войны, это были большие деньги.

Дед по центру – главный. Чем-то на моего деда Кузьму похож: череп продолговатый, нос длинный, как с иконы. Вообще они внешне, горные арабы, от равнинных отличаются, чем-то на славян похожи, только брюнетистые.

Обменялись мы с дедом приветствиями, пожеланиями, мир вашему дому, и вашему не хворать, и начал я речь. Соболезнования, конечно, водитель

не виноват, полиция признала, свидетели видели, но мы его всё равно уволили, а в Союзе ещё и накажем... Дед перебивает:

— Не надо увольнять и наказывать водителя.

— Ладно, — говорю, — передадим руководству, — и дальше продолжаю про то, что мы, тем не менее, исходя из нашей дружбы, учитывая лишение семьи кормильца, детей надо поднимать... Но чувствую, что-то пошло не так, переглядываются, переговариваются они.

Добрался я со словесными выкрутасами до конверта, спрашиваю, могу ли я вручить его вдове или вам, уважаемый райс?

А дед отвечает:

— Нет, мы ваших денег не возьмём...

Стою по-дурацки с протянутой с конвертом рукой, гляжу на Али. Он пожимает плечами: я-то тут при чём?

Прихожу в себя, собрался и разворачиваю концепцию защиты на 180 градусов.

— Вы, — говорю, — о ней подумайте, о женщине, что вы за неё решаете...

— А ты полагаешь, ей этот конвертик заменит мужа? — отвечает дед.

— А дети, ребятам одеться, обуться, здесь надолго хватит...

— Ни детей, ни её никто никогда не бросит: она жена нашего сына и брата, и это мои внуки...

— Здесь две тысячи долларов, может быть, мало?..

— Нам неинтересно, русский, сколько у тебя денег, это не имеет значения. Мы не можем оценивать жизнь нашего сына и брата. Жизнь человека бесценна, Аллах её дал, Аллах её взял. И водитель ваш тут ни при чём. Не трогайте его, нет на нём вины...

Я не стал больше торговаться, сунул конверт в портфель, а там ещё этот грёбанный листок.

Али, умница Али, меня выручил: взял бумагу и, чтобы напоследок я не выглядел совсем идиотом, сам подошёл к старику и прошептал ему на ухо. Тот кивнул и поставил закорючку.

Обратно я попросил Али сесть за руль моей "Нивы" и смотрел в окно на космические пейзажи. Вот тебе и арабы-торгаши. Али словно влезает в мои мысли:

— Знаешь, — говорит, — что ещё интересно, у них практически нет преступности.

Как ты там теперь, мой друг Али, в своём растерзанном Йемене? Накопил ли ты тогда на калым папаше твоей невесты? Когда я улетал в Москву насовсем, он провожал меня и на мой вопрос грустно ответил: нет, ещё не собирал.

Тянет в места, где было тяжело. Очень хотелось бы побывать в Адене, на Хормаксаре, побродить по берегу Индийского океана, съездить в горы. Куда там! Там теперь устанавливается демократия в грязи, крови и пепле. Как и в Багдаде. Очень хотелось бы посетить Багдад, красавец-Багдад моей молодости, которого уже нет.

Да, о чукчах попозже расскажу, в другой раз. Хороший народ чукчи, они мне жизнь спасли. Один раз, но этого оказалось достаточно.

* * *

В Штаты я впервые попал в мае 1991 года, ещё до путча. Готовили мы в числе других актов закон о таможенном тарифе, и было решено показать его предварительно американцам. Вовсю шла война законов, и мы, союзные структуры, мерились с российскими, кто быстрее издаст что-то новое, рыночное. И бегали согласовывать и докладывать американцам: вот, мол, проверьте, правильным путём идём, как наш генсек вам и обещал. Дурдом, в общем, а страна разваливалась.

Перед командировкой в США вызывает меня начальник и говорит:

— Во Вьетнам слетаешь? Тут один наш крупный завод хочет с вьетнамцами СП сделать, просят специалиста в сопровождение, ты же у нас, в том числе, СП занимаешься.

Отчего же не слетать, слетаю. Во Вьетнаме я был в северном, а вот в южном — ни разу, да и 14 долларов суточных не помешают.

Встретились в Шереметьево с директором крупного завода, он и сам крупный, в дверь еле влезает. С ним два зама – по производству и по коммерции. Ничего, вроде, мужики.

Прилетаем в Хошимин, он же бывший Сайгон, перелёт тяжёлый, 17 часов с посадками. Разместили нас вьетнамцы – представители уже вьетнамского крупного завода. Все с севера, воевавшие. Один – без руки, другой – напалмом обожжённый, тяжело на него смотреть.

Вечером дали водителя, поехали посмотреть город. От Ханоя, конечно, отличается очень. Толпа велосипедистов, пробки из них, одинокие машины еле пробираются. Прижали нас у какого-то колониального отеля, от французов ещё остался. И к нам – несколько накрашенных девчонок. Одна из них лопочет по-английски. Давайте, мол, на часочек задержитесь. “Ночные бабочки”. Директор впереди сидит, замы со мной сзади, я у окна. Спутникам моим интересно, впервые видят, спрашивают, чего они хотят? Любви, говорю.

Сам в окно вьетнамке объясняю, как в кино:

– Мы – русо туристо, облик морале.

А она мне в ответ:

– Вы плохие.

– Чего так? – интересуюсь.

Она отвечает:

– При американцах было лучше. Нам семьи кормить надо, жить на что-то надо, а у вас – облик морале. Ехали бы отсюда в свою Москву.

Да, думаю, это не Ханой. Вьетнамец-водитель английского не знает, но напрягается, видно, что СБшник. Что-то девицам крикнул – их как ветром сдуло. На следующий день, после переговоров, довольно бестолковых, – капиталистического опыта ещё ни у нас, ни у них не было, – повезли нас за город, отдохнуть.

Посреди рисовых полей – какой-то хутор с претензией, типа загородного дома приёмов МИДа, только всё из бамбука и листьев. Наверняка раньше его американцы использовали.

Дал я своим спутникам установку, что если они будут есть предложенные нам на ужин яства, то пить надо только водку, виски или джин. Вино от последующих проблем не спасёт. Уговаривать их не пришлось, хотя зря, наверное, сказал.

Прислуживали нам за столом четыре девочки лет по 15-16 на вид, правда, они все маленькие, можно и ошибиться. Особенно одна была прелесть, как фарфоровая статуэтка. Мы спросили, как зовут, оказалось, в переводе с вьетнамского – Весна. Точно, Весна, так мы её и звали.

Часа через два понеслись над рисовыми полями “Подмосковные вечера”, “Катюша”, короче, по-нашему. Вьетнамцы, кстати, хорошо подпевали, вообще они наши песни любят.

Поели, попили, попели, пора спать расходиться. И тут вьетнамские товарищи говорят нам, показывая на девчонок:

– Они – ваши.

Директор заколыхался, замы цветут, делить начали. А на девчонках лица нет, всё понимают. У Весны слезинки в глазах, директор её уже себе определил. Я говорю вьетнамцам – нет. Забирайте ваших девчонок и идите спать. И директору говорю:

– Нет, не пойдёт так.

У него челюсть со слюнями отвисла:

– Ты чо? Ты кто? Ты – никто, шавка, нам в помощь приставленная! Ты чо, не слышал, что парткомы твои сдохли уже?..

Врезал я кулаком по столу так, что бутылки попадали, потом на следующий день кисть болела.

– Уложу всех троих под стол, устраивает?

Дошло до инженерно-технических работников, с кем выпало иметь дело, притихли. Вьетнамцы забрали девчонок и на выход из бунгало. Правильно, пусть русские сами разбираются, в таких случаях к ним лучше не лезть.

Разбрелись мы по лежанкам, а наутро пришёл автобусик – обратно в Сайгон. Директор с замами с похмелья, но улыбаются, ничего, мол, не было. Вьетнамские мужики прощаются, жмут руку, глаза отводят.

Подхожу я к автобусику последним, как водится, тыл прикрываю.

Вдруг из-под бамбукового навеса ко мне стайка бросилась, все четыре.

Повисли на мне, как лайки на медведе, лопочут что-то радостно. Чуть слезу не пустил.

* * *

Вылетал я в Вашингтон первым классом, уже полагалось. Первый класс в Ил-62 маленький, на несколько человек, со мной – ещё двое. Сажу у окна, слышу какое-то возбуждение у персонала. Заходит стюардесса:

– Товарищи, здесь должны разместиться депутаты Верховного совета РСФСР, нам поступила команда, перейдите в хвост самолёта.

Два мужика-соседа побухтели, но встали, пошли.

– Я, – говорю, – сажу на месте по билету, здесь и останусь.

Убежала. Слышу за занавеской голоса:

– Где он?

Заходят депутаты, пара лиц, знакомых по ящику. Сразу на “ты”:

– Ты кто? Ты чо? С кем ты связался? Как зовут, отвечай!

Где-то, думаю, я это уже недавно слышал.

– Зовут меня, – отвечаю, – пошёл ты на ... и никуда я отсюда не уйду.

Один опять завопил, а другой поступил подлее, не зря же он – политик.

Говорит стюардессе:

– Если вы сейчас не освободите это место, вы уволены.

Девчонка заплакала и – ко мне:

– Умоляю вас... Они меня действительно уволят, я на колени встану...

Её-то, думаю, точно уволят, боялись их тогда уже многие, наглых, отвя-
занных, лживых, входивших во вкус власти.

Встал я, пошёл в хвост. Молодая российская демократия пробивала себе
дорогу. До кончины великой страны оставалось три месяца.

Я думаю, что развитый природный интеллект, не обременённый мораль-
но-нравственными устоями и чувством социальной ответственности, – это не
только наша, это общемировая проблема.

Человечество в своё время поставило в рамки природную физическую
силу, поставит в рамки природный интеллект будет намного сложнее.
Но придётся.

Приняли меня в Вашингтоне хорошо. Особенно один мужик из Госдепа,
куратор мой на время командировки, как оказалось потом, ветеран войны во
Вьетнаме. Ветераны, они везде примерно одинаковы. Человечнее.

Узнав, что я первый раз, что хотел бы что-нибудь посмотреть, кроме Гос-
депа, что в Нью-Йорке у меня друг, Володя Седов, которого хотел бы навес-
тить, пошёл навстречу. Договорились, что по итогам обсуждения проекта он
что надо напишет, а я на несколько дней свободен.

В посольстве нашем тем более отнеслись хорошо. Нервничали они в по-
сольстве, всё теребили, что там, в Союзе, происходит. Дали машину до Нью-
Йорка, посетил я Володю, работавшего в Амтрге. Посетил с ним Брайтон,
Манхэттен, впечатлений, конечно, масса. Удивило, что ковбоев из фильмов
что-то не видно, народ средненький, без затей. И женщин красивых что-то
мало. Володя говорит, они – в дорогих машинах.

Гулял по городу, пока он был на работе, один, иду по мосту через Гуд-
зон, ну, если точнее, он же Хадсон. Вижу – впереди блондинка, фигура –
Голливуд. Вот она, думаю, Америка. Догоняю просто так, без цели, шёл бы-
стрее, а у неё – телефон. Вынимает она его из обтянутых джинсов, и с ис-
пользованием специфичных слов, которые она выучила ещё в школе, где-ни-
будь в Вышнем Волочке, отвечает кому-то, что тот её достал и пусть ей он
больше не звонит.

Возвращаюсь в Вашингтон автобусом – так дешевле. Хоть суточные
в США тогда были не то, что во Вьетнаме, 25 долларов, конечно, сэкономили
на всём.

В автобусе – одни негры. Из белых только один я и молодая еврейская
семья: он, она и девчужка. Разговорились, тоже недавно приехали. Но, в от-
личие от меня, навсегда.

Пожелал я им на автовокзале в Вашингтоне удачи, трогательно попроща-
лись, я для них был словно последний островок Родины. Достал я карту Ва-
шингтона и, тоже в целях экономии, пошёл пешком в сторону посольства.

Вечереет, кругом у малоэтажных домов одни негры и ведут себя как-то странно: галдят, пальцами на меня показывают, пристраиваются сзади или сбоку, лопочут. Я в английском не так, как в немецком или, по молодости, в арабском, да и английский у них такой, что, думаю, не всякий англичанин поймет. Но, в целом, понимаю, что говорят они в мой адрес только нехорошее.

Добрался я до посольства, и знакомый сотрудник, узнав, что я от автовокзала шёл пешком, испугался и пальцем у виска крутит.

— Ты что, — говорит, — надо было такси брать, там бы они тебя и закопали, а мы бы потом расхлёбывали.

Узнал я тогда, что 80 процентов вашингтонцев — негры, и что белые, особенно вечером, в их районе не появляются. *Высокие отношения.*

Только почему-то я уверен, что узнали бы негры, что я русский — ничего бы не сделали. К нам в мире по-разному относятся, в основном — хорошо, но никогда — равнодушно. Пришёл утром в Госдеп к своему Джону, закруглили мы с ним по-быстрому отчёт, вижу у него в кабинете вымпелочек морпеховский. Оказалось — служил во Вьетнаме.

Пригласил меня вечером к себе, а я ему говорю, что у меня для него будет маленький сюрприз. Я из Вьетнама прилетел и — почти сразу — в Штаты: вынул из портфеля одни бумаги, положил другие. И уже в самолёте увидел, что в портфеле у меня остались две бело-голубые пачки сигарет “Сайгон” с джонской на этикетке. Вот их-то я и подумал принести ему в качестве сюрприза.

Сели у него вечером, они с женой живут вдвоём, дети уже взрослые. Угощают, конечно, не по-нашему: коктейли, чипсики, кренделёчки с солью. Потянули через соломинку, и я ему говорю: “Был несколько дней назад в Сайгоне, общался с такими же, как ты, ветеранами, только вьетнамскими. А вот тебе и сувенир”. Достая ему пачки, протягиваю. Я предполагал, что будет какая-то реакция, может, посмеётся, может, выбросит, сигареты-то паршивенькие. А у него по лицу, казалось, тень пробежала, как будто по земле скользнула тень самолёта, с которого они вьетнамцев бомбили. Как будто другой человек сидит.

— Это мне? Обе? Спасибо... Спасибо... Я одну другу дам. Мы их курили. Там. Понимаешь?

Теперь уже понимаю. Срывает ленточку, пальцы дрожат.

— Будешь?

— Нет, — говорю, — бросил.

Закуривает, и вижу у серьёзного, не слабого мужика в глазах слёзы.

— Давай, — говорю, — по-нормальному выпьем, без колы и соломинок.

— Конечно! Давай.

Это “давай” он сказал по-русски. Выпили по-нормальному.

— Как ты думаешь, они нас простят?

Задумался я, вопрос серьёзный. Вспомнил покалеченных вьетконговцев, девушек на рисовых полях.

— Знаешь, думаю, да. Должны. Нам на всей земле надо научиться друг друга прощать, иначе мы никогда не разорвём это проклятое кровавое кольцо. Когда я уходил, мы с ним обнялись. И не потому, что выпили, и не потому, что на дворе была эта долбаная перестройка.

Улетая домой и разглядывая из иллюминатора завитушки коттеджных посёлков под Вашингтоном, я размышлял примерно так же, как когда-то, глядя на финиковую пальму на берегу Шатт-Эль-Араб.

Не впечатлила меня первая поездка в страну Каина. Много улыбчивых, но мало счастливых. Сложная эта, вечно ускользающая категория — человеческое счастье. Подчёркиваю, имею в виду человеческое счастье.

Да, человек не должен быть униженно беден, это тоже влияет на счастье. Но, уж точно, не зависит оно от количества жратвы, бабла и секса (извините за сленг, но он лучше подходит по смыслу).

Вспомнилось, как, вернувшись осенью из Йемена, ехал я на электричке от матери в Москву. Примерно тогда написал я стихотворение “Похолодало на земле”. Семьи нет, никого нет, в душе — привёз пустыню. Зато разодет был из “Берёзки”, в карманах доллары и чеки “Внешпосылторга”.

На станции Быково подседа напротив парочка: муж и жена где-то моего возраста. Старенькие, штопаные студенческие курточки, нитяные перчатки, джинсы от “Большевички” за семь рублей и садовый инструмент, тряпочкой обмотанный. С дачи, значит. Это были не просто счастливые люди, они светились

счастьем. Любовью и счастьем. Позавидовал я им тогда, горько позавидовал. Хотя чувство это мне практически не присуще. Так, и что? Пыжащееся убожество Брайтона, это – счастье? Мне двенадцать лет спустя наш генконсул в Нью-Йорке говорил: едут с Брайтона-то в матушку-Россию, едут и не единицы, а в массовом порядке, особенно молодёжь. Только об этом уже не пишут – молчок! Да, глядя на Нью-Йорк, я восхищался инженерным гением человека, не был равнодушен к витринам, машинам, величественным зданиям. Посмотрел – интересно, не более. Улетаю.

Не обольщайтесь по жизни витринами, так же, как и открытками. Есть в Нью-Йорке магазин со всякой живностью, и на улицу выходит шикарная витрина. В лучах света там ползают, кувыркаются среди игрушек щенки-очаровашки, выставленные на продажу. Так вот, если они не выкупаются в течение трёх месяцев, то их усыпляют.

* * *

Я без пиетета отношусь к Ельцину. Работал в его Администрации в самые “весёлые” 1991-1992 годы. Помню, как потеряли “Особую папку”, которую хранили раньше, как зеницу ока. Помню, как персонажи из тогдашнего политического руководства, когда получали от нас серьёзную информацию, требовали сдать агентов и источники. Видел, слышал, знал и знаю многое. Но он – уже история. Какая есть. Историю вообще люблю, но в частности – давно не доверяю. Уже на моей памяти нагородили столько лжи о событиях и жизни, в которых я жил. И продолжают городить.

Я, тем не менее, благодарен Ельцину за два его судьбоносных решения, одно из которых – присяга. Его в начале 1990-х толкали под локоток и отдельные персонажи из генералитета, из демократического окружения, для которых слова и обещания были пустой звук, и американские советники... Ну, там понятно: чем хуже, тем лучше.

Мне дед Кузьма, когда я уходил в армию, говорил: “Служи, Мишка, не власти, а Отечеству”. Далеко глядел дед Кузьма. Я присяги никогда не поменял бы, но знаю, что для многих мужиков за пределами России это стало трагедией. Люди, конечно, разные. Для кого-то полюбить – это как выпить стакан воды, а кто-то за любовь, за други своя жизнь отдаст. Понимаю, что выглядит пафосно, но я отношусь ко вторым.

Скажу больше, в октябре 1991-го предоставили мне возможность почитать своё досье. Много узнал любопытного, в том числе и о человеческой подлости. Ну, речь не о ней, её хватает. В характеристике, данной мне одним из моих самых уважаемых учителей, он написал: “исключительно надёжен”. Эти слова старого полковника мне не менее дороги, чем госнаграды. Очень это непросто – им следовать в реальной жизни, но я старался.

Находятся по жизни и такие в погонах, кто присягу делит на две части: до 1991-го и после. До 1991-го, мол, никаких обязательств уже давно нет, мेलю, что хочу. Рассказывают налево-направо не только те секреты, которые, действительно, знали, но и, не будучи в то время даже не то, что винтиками, а шайбочками в системе безопасности великой страны, с экспертным видом, в том числе из ящика, обсуждают и сообщают её “тайны”, ничего или почти ничего общего не имеющие с действительностью. И здесь я придерживаюсь формулы деда Кузьмы.

Стихотворение “Купола” я написал после событий в Тбилиси 1989 года, суть которых мы уже тогда, несмотря на ложь многих СМИ, хорошо знали и понимали. В это не хотелось верить, но мы уже тогда понимали, что политическое руководство Союза сдаёт и подставляет армию и начинает сдавать страну, от которой оторвали фактически первую её часть.

При этом все, особенно Запад, а чуть позже – и в случае с Югославией наплевали на Хельсинский Акт 1975 года о нерушимости границ и т. д., и т. п. Ящик Пандоры опять открылся. Уверен, надолго.

Запад соблазнился, забыв о том, что часть территории США – это Мексика; Польши, Франции и Чехии – Германия; Италии – Австрия, Британии – Испания и т. д., и т. п., у всех есть скелеты в шкафах. Да и с Аляской некрасиво вышло, некорректно. Бесперспективная страсть к мировому господству, жажда наживы и власти – давние грехи человечества – победили в очередной раз.

В дни путча я мотался по Москве на своей “копейке”. Не только по работе, я понимал, что на моих глазах вершится история. Многократно бывал в “осаждённом” Белом доме, жалкую охрану проходил без проблем. Передавал несколько раз хорошему приятелю по его просьбе блоки сигарет. Потом, когда он резко стал большим начальником уже на Старой площади, а я работал в Администрации Президента, он предложил мне включить меня в список награждаемых медалью за оборону Белого дома. В то время за включением в этот список очередь стояла. Я поблагодарил Андрюшу и отказался. Позже носители этой медали, не все, конечно, прятали её подальше от греха. Я не был и не мог быть защитником Белого дома, но и захватчиком его я бы не был. Такова была позиция большинства людей в погонах.

На утро “победы” демократии, когда путч провалился, я ездил по великому городу и всматривался в лица людей. Удостоверяю, что у москвичей и гостей столицы не то, что не было радости, люди выходили из метро, шли по улицам с мрачными или просто будничными лицами. Как мы потом делились впечатлениями, так было в основном везде по России. Только у Белого дома были радость и веселье. К вопросу о народе, о народной воле, о демократии и т. д.

Вечером 22 августа пробрался сквозь толпу смотреть, как будут сносить памятник Дзержинскому. Слышу у памятника спор, не вписывающийся в задорные речи и крики. Проталкиваюсь: две молодые женщины, девчонки, пытаются доказать толпе, что это варварство, при чём тут памятник, что толпа делает то же, что и в те годы, которые она теперь осуждает. Кто-то с ними дискутирует корректно, а кто-то уже пытается угрожать, тянут руки. Пьяных в толпе хватает. Протискиваюсь к ним: “Таня, Маша, пойдём!” Они не сразу, но понимают. Вслед — хамские крики, улюлюканье, нехорошие пожелания в мой адрес.

Заворачиваем за угол Детского мира, усаживаю их в “копейку”, трогаемся. За шторами Лубянки — редкий свет, кто-то осторожно выглядывает. Одна из девчонок машет в их сторону кулаком: “Сидят...” Другая утешает: “Ну, а что они сделают?..” И ко мне: “А откуда вы меня знаете?”

Чувствую запах алкоголя.

— Я вас первый раз вижу, как и вы меня. Надо было как-то вас назвать. Так кто вы, Таня или Маша?

— Маша...

— В России это имя угадать нетрудно. Куда отвезти?

— В Медведково.

По дороге узнаю, что это две секретчицы с Лубянки, выпили вечером для храбрости, пристыдили мужиков и пошли одни железного Феликса спасать.

Да, действительно, в тот момент в зданиях на Лубянке было много вооружённых или готовых в любой момент получить оружие профессионалов. И они ничего не сделали. Кто-то, как эти девчонки, их обвинит.

Считаю, уверен, что они, а также подавляющая часть армии поступали тогда абсолютно правильно. Кукловоды в стране и за рубежом тогда просто жаждали крови. И если бы она тогда по-серьёзному пролилась в Москве, она бы пролилась и дальше по стране. И даже России у нас вскоре могло бы уже не быть. А девчонки — всё равно молодцы! Где вы там сейчас, в вашем Медведково?

Вспоминаю я покойного Славку Пескаря и с сожалением думаю, что могло у него быть по-другому. Но, может быть, своей нескладной жизнью и смертью он показал другим, в том числе мне, как не надо? Может быть, в этом, к сожалению, и было его предназначение на этой земле?..

У меня в десантуре есть друг со схожей с ним на начальном этапе судьбой. Они даже внешне схожи, только Славка — брюнет, а Васька — блондин, а уж характеры — судьба постаралась. Ну, это для меня он Васька, а для большинства — Василий Михайлович, фамильярность с ним, особенно для незнакомца, может быть вредной для здоровья. Чтобы не путать его с моим старшим братом Василием, буду называть его по тексту уменьшительно: Васька,

Вася, Васятка, мне он разрешает. Родился Васятка в семье, где уже было восемь человек детворы, а мать умерла, когда исполнилось ему 3 года. Было это в посёлке торфозаготовителей и лесорубов Бакшеево, в медвежьем углу нашего замечательного Подмосковья. Примерно вскоре после того, как начал Васятка ходить, начал он и драться, поскольку был самый маленький, и надо было себя защищать. Отсюда, может, и появилась, и развилась у него пацанская страсть к справедливости, за которую лет до 10–12 бит бывал ватагами сверстников жестоко, а попозже оказалось, что бить-то его уже больше никому: даже группами сложно, а один в один – бесполезно. Наградили Господь, родители да Мещерские леса Васятку удивительной физической силой и бесстрашием духа.

И взрослым спуску не давал, только по-своему. Обидели его как-то, ещё дошкольника, сидевшие за столом взрослые, не драться же с ними. Вышел Васятка, как был, в малой одежонке на мороз, хватились его, когда он уже замерзал. Больше с ним не шутили.

В пьющей среде не миновать ему было этой участи, но Господь решил по-другому. Как-то забежал Васятка с улицы запыхавшийся и схватил со стола стакан. Думал, вода... С того момента и на всю жизнь не брал в рот спиртного. Уже в возрасте убедил я его не выпендриваться и не давать поводов для гипотез – протокольно пригубить бокал, когда это было надо.

Окончил Вася школу, пошёл в лесорубы, а уже перед армией решил посмотреть, как там Москва, устроился учеником слесаря на АЗЛК. Общежитие, лимита, первая получка. В комнате, кроме него, четверо здоровых мужиков.

– Давай, наливай... Как не пьёшь? Может, ты ещё и фраер? Давай проверим молодняка.

Проверили, двоих увезли на “скорой”, двое так отлежались. И – по-подлому – в милицию. Уголовное дело завели. Тут-то и подоспело родное ВДВ, возможный срок заменили призывом. Вот тут-то у Славки с Васей пути и разошлись. Стал Вася замкомвзвода, призером ВДВ по спецподготовке, получил две благодарности от самого Василия Филипповича, которыми гордится больше других наград, и в итоге стал полковником, но уже по другой линии.

Пересеклись мы с ним в Московском университете: я его окончил, а он – поступил – тоже по велению Родины. В бытность мою студентом я часто посещал общежитие МГУ. Настоящая студенческая жизнь протекает именно там. Хотя, как и всё в этой жизни, обстановка там была далека от идеала. “Шалили” ребята с юга. Интернационализм в их понимании означал полную безнаказанность, а если их цепляли, то был, например, такой случай. После ссоры со студентом с Кавказа прилетела оттуда бригада, избивали всех, кто был в трёхкомнатном блоке, большинство вообще непричастных, и – улетела. Возбудили через пень-колоду уголовное дело, а через некоторое время прилетели уже аксакалы. То ли за деньги, то ли руководствуясь социинтернационализмом, дело замяли. Я приезжал к ребятам: как же так? Если девчонку затаскивают силой в комнату – ну, должен же быть у неё парень, друзья, земляки? Если вашего избивали, как вы говорите, ни за что, давайте отпор, не можете – обращайтесь в милицию. Слушали, глаза отводили, сам, мол, давай, умный. Пять лет спустя я посетил в общежитии МГУ своего брата Колю. Стою внизу в холле “Крестов”. У турникета – группы весёлых южных ребят шуточки отпускают, комментируют. В холл заходят мой Коля и с ним белобрысый, среднего роста, кряжистый парень с резкими чертами лица и взглядом снайпера. Я уже слышал о нём от брата, понимаю – это Васька. Третий – тоже крепкий, лобастый – Шура Шатунов, его я уже знал. Южане почти хором: “Василий Михайлович, здравствуйте! Коля, Шура, привет!” И мне в лучах славы приветствие досталось, хотя до этого глядели на меня, как на урну в углу.

Нет, Васька не бил всех подряд. Не ходил с бригадой по комнатам бить несогласных, не оскорблял незнакомых, не грозил и ничего не обещал. Резаный, битый, никогда не сломленный бакшеевский пацан привнёс с собой жёсткую, но предельно честную пацанскую справедливость. Не унижай никого, не оскорбляй, не бей слабого, лежачего, дерись один в один, отвечай за свои слова, виноват – признавай. Поддай руку тому, кого ты свалил, поблагодари того, кто оказался сильнее тебя и т. д. Кто знает – тот знает. Всё это я понял и наблюдал уже позже, и не только и не столько из рассказов самой троицы.

Где-то год спустя мне одну из историй с Васькой рассказал студент-чеченец, знавший, что авторитетный для него Магомед Каратаев – мой однокурсник

и друг. Кто-то из молодых, как он сказал, ишак, не зная Василия Михайловича, цапанул его нехорошим словом, за которое на зоне могут жизни лишиться. Увидел реакцию, понял, что-то не то, и рванул к нам в блок. Нас там человек 15 сидело, залетаёт он и – за наши спины. Из наших одни, кто за стулья, кто руки в карманы – на пороге Василий Михайлович. Или, говорит, вы мне отдайте эту мразь, или, если кто хочет за него впрягаться, готов с любым один на один. Если все решите впрягаться – готов со всеми. Только после этого вы уже не сможете называться теми, кем вы себя считаете.

Ваха у нас старший был, всех остановил:

– Говори, Василий Михайлович.

Объяснил Василий Михайлович. Ваха ему отвечает:

– Соглашусь с тобой и по нему вижу, что ты правду говоришь. Но у нас традиция такая: мы своих сами наказываем.

– Слово?

– Слово.

Так и расстались. Молодые к Вахе, что, мол, за деятель, мы бы его повалили и в окно выкинули. А Ваха ответил: “Это – воин”. Все и замолчали.

Пересказал по истечении времени примерно, но по сути точно. К чему эти бытовые истории?

Есть у нас такая народная интеллектуальная забава: искать национальную идею. И я в своё время увлёкся. Размышлял, читал и Ильина, и Бердяева, и Фёдорова, не говоря уж о великих писателях земли русской. Пришёл со временем к то ли гениальному, то ли к примитивному выводу, скорее всего, второе, что могу сформулировать эту идею двумя словами.

Стал тестировать на близких и не очень, тех, конечно, кто склонен размышлять. На разных: от московского академика до проводниковского (посёлок такой под Коломной) тракториста эти два слова. По-разному реагировали, но большинство в итоге сходилось во мнении: что-то в этом есть.

Великое – в малом. К этому я и о Васье рассказал. Представьте, что на вашей улице или в вашем селе, где вы всех знаете, вам надо выбрать лидера. Кто у вас самый богатый? Вон, Иван Иваныч, дом какой отгрохал, три машины, тётки его разодеты... Выберем? Да нет, вор он! А Пётр Петрович, чиновник в управе, всех нужных знает... – Нет, вор и взяточник. А Федя – амбал, любого скрутит... – Нет! Мозгов бы ему побольше! А вот – хороший человек Сан Саныч, умница, мухи не обидит... – Нет! То-то и есть, что мухи не обидит, “ботаник”. Любой его задавит, не говоря уже о Феде-амбале...

Примерно так мы приходим к выводу, что человек нам нужен с морально-нравственными устоями, но и с силой, что не даст ни себя, ни нас в обиду. Пусть у него и дом будет не самый богатый и денег у него ненамного больше, чем у нас.

Назову эти два слова.

Быть первыми.

Эти слова в крови у нашего самого непокорного в мире народа, в его истории, в его судьбе.

Кто-то скажет, а как же США? Нет. Сколько бы миллиардов они ни вкладывали в мифы о себе – никогда они не были и в том виде, в каком они сейчас существуют, не будут морально-нравственными лидерами для человечества. По части Бреттон-Вудского и других видов мошенничества – да, первые.

В начале 1990-х один из лидеров сепаратистов, не буду его называть, призывал ему подобных “прогнать пьяную русскую собаку от порога нашего дома”. Неприятное, обидное высказывание, а так ли оно несправедливо для того времени?

Не обижаться надо, а не быть той самой собакой, но быть сильным, справедливым медведем, тогда и чеченцы, и другие будут с нами, уже с нами.

Видел в сети такой подленький вброс: Кадыров, мол, боится Путина. Ты, мол, Рамзан, не бойся. Да не боится Рамзан Путина, он его уважает, он уважает в нём воина. Вот это, кстати, второе решение Ельцина, за которое я ему благодарен: Путин.

Будьте первыми, и к вам потянутся. И братья-хохлы засунут бандеровскую мразь туда, откуда она вылезла. И прибалты не безнадёжны.

Я говорил со старым латышом. Он, вспоминая молодость, сказал: если бы честный референдум проводился у нас вскоре после полёта Гагарина, подавляющее большинство латышей проголосовало бы за Союз.

Возвращаясь к Ваське, вспомнил ещё одну деталь, и к ней ещё вернусь. Заложили доброжелатели Васю парткому, и разбирали его некорректное отношение к студентам других национальностей. По жизни такого никогда не было, что Васька — националист, но ярлычок такой вешается легко в целях, прямо противоположных настоящему интернационализму. Дали срок коммунисту Федоркину на исправление. А у них на курсе был негр по имени Абу, сын какого-то африканского вождя. Парень забитый, и только ленивый им не помыкал. И сказал Василий Михайлович:

— Кто Абу обидит — будет иметь дело со мной.

Тут и началась для Абу новая жизнь. Ну, и в парткоме нашлись доброжелатели Василия, доложили: исправился. Шефствует он над представителем дружественного африканского континента.

Вопрос сняли. Абу, где только мог, бегал всюду за Васькой. Они действительно подружились.

* * *

В красавице Вене, как я уже упоминал, не написал ни строчки. Но благодарен ей и замечательной стране Австрии за тех людей, которые стали моими и учителями, и друзьями. Прежде всего, это Александр Васильевич Благов, мой мудрый наставник, человек исключительной порядочности, настоящий патриот нашей Родины. Это дорогие мне Вадим Степанов, Андриуша Чёрный, Серёжа Костенко, Коля Окатьев, Олег Дозорцев, Витя Косолапов, Миша Провоторов, Серёжа Долгов, Слава Ханин, Лёша Лютый.

Нет уже в живых задумчиво мудрого Коли Куплинова и большого нашего оригинала Валеры Корнеева. Царство им Небесное.

В самом начале пребывания в Вене ездил я по-московски, скажем так, чтобы не обидеть москвичей, дерзко. Утром в воскресенье поехал в аэропорт “Швехат”, встречать кого-то. На улицах — ни души и машин почти нет. Еду по Принцойгенштрассе, вижу, впереди к “зебре” ковыляет дедок на полусогнутых в тирольской шляпе. Мог бы я и проехать, он ещё не дошёл до “зебры”, но что-то меня остановило. Проходи, думаю, моего деда Кузьму под Смоленском выцеливал. Дед вступил на переход, приподнял над собой шляпу и так с приподнятой в знак благодарности шляпой и проковылял весь переход. Больше я в Вене по-московски не ездил, да и в Москве тоже, хотя там, у нас, это было сложнее.

Люблю Вену, люблю Австрию, люблю Германию, куда я мотался чуть не каждую неделю. Кто же их не любит, скажете. Да, кое-кто в очереди стоит.

Я люблю по-своему. Я помню, что в замечательных городах Германии всего лишь 75 лет назад — миг для истории — торговали на рынках людьми. Мне врезался в память рассказ старого, совестливого немца. Нам, говорил, в зоне наступления на Курской дуге дали приказ убрать население, во избежание партизан и доносчиков. Вывозить было некогда и хлопотно, и мы, не СС, а вермахт, забили там, в деревнях, колдцы трупами женщин, стариков и детей.

Знаю, что Гиммлер хвалил австрийцев за то, что у них не было практически успешных побегов из лагерей. Они же — прекрасные охотники, выходили с собачками, дудочками, охотились... Впрочем, успешный побег был в начале февраля 1945 года из блока смерти концлагеря Маутхаузен. Из 500 человек, совершивших побег, почти все были найдены и уничтожены частями СС и “хорошими охотниками”. Не нашли 10 человек. Немцам не могло прийти в голову, что кто-то из наших военнопленных ночью, при минус восьми может переплыть километровый Дунай, по которому шла ледяная шуга. Двоих из них спрятала, рискуя жизнью, австрийка Мария Лангалер, сыновья которой воевали на Восточном фронте. Благодаря ей они выжили. Вот так.

Много за шесть лет было любопытного, познавательного, пробежусь по двум-трём эпизодам. А то демонический профиль стал уже напоминать мне мою совесть: так же скребёт по душе.

Где-то в 1994-м в Вену с лекцией приехал Горбачёв. По приглашению банка “Кредитанштальт”. Я уже многих знал, был знакомый мужик и в этом банке. Пока ждали Горби, этот мужик довольно смело посетовал, что не было им печали, но вот навязали, и деньги придётся платить приличные.

– Ну-ка, ну-ка, – говорю, – поподробнее.

Оказалось, что есть разнарядка по банкам выше, выше австрийского руководства, приглашать Горби. Он читает одну и ту же никому не нужную галиматью, за что ему очень прилично платят. Параллельно читавший по той же схеме такую же галиматью Шеварднадзе хвастался перед журналистами: “Мне вот за лекцию 100 тысяч долларов платят, попробуйте, вы такую прочитайте”. Понятно, Иуда, что тебе не за содержание твоей галиматии платили, а за развал Союза, за отданный тихоокеанский шельф и на расходы по дальнейшему упрочению демократии. “Молодцы” американцы, они и воюют чужими руками, и своих иуд на чужие деньги содержат.

Прочитал Горби лекцию, был он ещё интересен, и к нему пошли за автографами, руку пожать, в большинстве – австрийцы. Наши посольские в стороне, в основном, стоят. Подошёл и я. Сидит он в метре от меня спиной, за столом, подписывает приглашения, собой доволен чрезвычайно, шуточкой косноязычные рассказывает и комплименты дамам отпускает. Доволен, срубил очередную “тридцатку”. Пронеслись у меня тут в голове мысли о никому не нужных и не вспоминаемых среди этой лощёной публики миллионах обездоленных, сотнях тысяч убитых, замученных, растерзанных моих сограждан, лежащих в руинах перестройки, в дымящейся пожарами моей стране. Может, и не надо было бы об этом неприятном для меня эпизоде вспоминать, но подумал – надо. Жуткое, неприятное воспоминание, но Бог уберёт.

Пришёл мне в голову страшный вопрос Достоевского: “Тварь ли я дрожащая, или право имею?” До него, как я сказал, метр: захват левой за шею, правой в замок, подтянуть тушу на грудь и жим вперёд корпусом. Мне на это надо одну-две секунды, его рыжий охранник метрах в пяти сучает. Летят у Иуды шейные позвонки, и никакая “скорая”, никакой реаниматор не помогут.

Бог уберёт. Отступил лукавый. Как бы хозяева его радовались: не только Иуду, но и мученика на все времена получили, да ещё и денег сколько сэкономили. Нашлись бы в будущем продажные клерикалы, и в святые бы его записали.

Живи, Михаил Сергеевич. Дали тебе полпроцента, да пощечину в Омске, да плевок на плешь от старушки – достаточно. На все времена. Радуйся жизни в своей Германии, получай там все необходимые для долголетия клизмы. Там ты и сдохнешь в тепле и неге среди тех, кто тебя содержит и считает одновременно дураком. Очень нужным дураком. Ведь возможные – а надеются именно на это – последователи-иуды должны знать, что будет им и Нобелевская премия, и кресло с Фондом, и вилочки, и счета в Германии, и омолаживающие клизмы в старости.

Жаль, конечно, что привезут тебя хоронить в ту страну, в ту землю, которую ты предал. С другой стороны, будет место, куда можно будет плюнуть.

Кто-то, может быть, после этих моих слов поёжится, не знакомы мы с ним, так, случайно по жизни встретились. Что ж, тоже позиция. Моя же позиция, на первый взгляд, проста: я был, есть и останусь верен присяге, данной мною моей стране и моему народу. А он, напоминая, наш и мой бывший главнокомандующий, который за деньги, за подачки изменил данной им присяге и предал и свою армию, и свою страну, и свой народ.

Вот так, примерно. Что есть, какой есть.

* * *

Были у меня в Вене две жизненные развилки, пробегусь по ним.

В начале 1996-го в Вену приезжает Чубайс, тоже лекцию прочитать и тоже по приглашению какого-то банка. Рейтинг Ельцина в России – 3%, Чубайса, мягко говоря, даже среди наших за рубежом, не любят.

Прочитал он, к стати, в отличие от пустой трескотни Горбачёва, интересно. По окончании к нему никто не подошёл, он встал в сторонке, перебирает бумаги. Я знал его по работе в 1991-1992-м, было и любопытно, и где-то сочувствие к нему, он смотрелся, как обычная “хромая утка”. Я всегда понимал его как врага, но как врага умного, волевого, не трусливого и, что важно, честного, не скрывающего, что он – враг той стране, которая его взрастила, обучила, дала окрепнуть и жить. Такие, правда, говорят, что они сами себя сделали. Ну-ну. Чего стоит услуга, уже оказанная.

Подошёл. Он меня узнал и назвал по фамилии, что неудивительно, память у него отменная. Вспомнил, что работал я у Шахрая, Котенкова, Орехова, посетовал, что дела у Шахрая сейчас (тогда) неважные, вместе вспомнили, как у него в Госкомитете по имуществу поцапались по одному документу, — в общем, идиллия. Не думаю, что я ему был интересен только потому, что спас его от неприятного одиночества. Он мне был интересен, я ему, видимо, тоже. В конце беседы он предложил мне идти к нему работать. Затеваются серьёзные дела, ему нужен опытный юрист с языком. Дал телефон, я обещал позвонить. Не позвонил.

Через пять месяцев “железный Толик”, по существу, выиграл президентские выборы Ельцина и стал руководителем его Администрации, вторым по влиянию лицом в государстве.

В конце этого же года в Вену приехал Путин, замуправляющего делами Президента по вопросам заграничности. Мне Филиппин поручил с ним работать, что я и делал с перерывами в течение девяти дней. Возил я его по Вене на новенькой вишнёвой “Опель-астре”, потом мой сменщик ее разбил в ДТП, жаль, была бы в торгпредстве реликвия. Осталась у меня только его тогдашняя визитка. Маленькая, но тоже реликвия.

Как моё впечатление? Оно формировалось постепенно с течением времени, опыта и знаний. Там, в Вене, — нормальный мужик. Пьёт пиво, укатил в служебной командировке в горы на лыжах покататься, молчун, из тех, кто говорит последним. На жёстком совещании по вопросам судьбы госзагрансобственности выступил последним и поддержал мою позицию. Было приятно. Перед отъездом увиделись в посольстве, переговорили. Думаю, что сложилась определённая симпатия, и он ко мне приглядывался. Я из Питера — он из Питера, он — юрист, я — тоже, он немецкоговорящий, уважающий Германию, я — тоже. И, разговаривая в машине, хотя и не во всём, но сходились. Он, правда, очень закрыт, разговорить его трудно. В общем, он предложил мне в итоге, почти теми же словами, что и Чубайс: возвращайся, в Москве будут серьёзные дела. Я поблагодарил, ответил уклончиво. В конце концов, не только я, даже не столько я решал вопросы моего пребывания где бы то ни было.

Впоследствии мне многократно приходилось участвовать в переговорах, форумах, выставках, открытиях чего-либо с его участием, но личного контакта больше не было. У меня, тем не менее, сложилось мнение о нём на основе собственного опыта и знаний и на основе знаний близких ему людей, с которыми мне довелось общаться и работать. Я поделюсь. Попозже.

Жалел ли я об этих “развилках” судьбы? Конечно, нет.

* * *

Да, а в тюрьму Васька всё-таки попал. В австрийскую. К тому времени он уже был очень серьёзный адвокат, в том числе Лондонской коллегии, а по факту разводил в стране и за рубежом интересы братков, происходивших в прошлом из спецслужб. Вот такая была интересная у него специализация. По отрывочным сведениям о нём того периода, думаю, что адвокат из “Бандитского Петербурга” был по сравнению с ним дилетантом.

Видимо, его элементарно оговорили клиенты или конкуренты, так как в итоге у австрийцев на него ничего не нашлось. Но европейским спецслужбам вообще и австрийским в частности достаточно впарить набор слов: русские, мафия, КГБ — они собирают всё, что можно: вертолёты, бронетехнику, спецназ и бегут очертя голову спасать демократию.

Брал Ваську на площади перед городской ратушей австрийский спецназ, полиция это дело не доверили. Он потом сказал, что сделал бы их, но зачем портить настроение хорошим людям в хорошем месте.

Посадили его сначала в одиночку, а потом, когда поняли, что ничего от него не добьются, перевели в общую. В камере, куда он попал, было около 25 человек, в основном бывшие “юги” и турки, да пара негров. Когда он зашёл, к новенькому потянулись не с самыми дружескими намерениями. Он не стал ничего объяснять, а сделал на полу в центре камеры “крокодила”. Делал он это блестяще: рука в сторону, как в полёте, тело в струнку парит параллельно земле. Мог держаться так несколько минут. Повисел он так посреди

камеры, потом занял свободную койку и до конца своего срока был Василий Михайлович среди местных сидельцев и паханом, и авторитетом, и смотрящим, и бугром в одном лице. Уважали и там нашу десантуру. А куда деваться...

Вытащили мы его через два месяца. Дал я ему вырезки из австрийских газет, из которых следовало, что в Вене был арестован глава русской мафии, полковник КГБ, за спиной которого остались сожжённые афганские кишлаки.

Посмеялись. Вася, конечно, бывал в разных местах, но в Афгане – никогда. Взял я с него тогда слово бросать эту его гнилую работу, пока его не грохнули. Слово своё, как и во всех иных случаях, он сдержал. Через год. Будучи моим замом, восстанавливал вместе со мной и Андреем Хрипуновым порушенную правовую службу нашего министерства. Подступали двухтысячные.

* * *

С Путиным судьба пыталась свести нас ещё раз, когда он только-только стал премьером. Саша Остромецкий, мой старый друг, бывший тогда помощником премьера и выжатый на этой каторге, как лимон, предложил к Путину вместо себя – меня. Поддержали меня мои друзья, авторитетные юристы Роберт Цивилёв – увы, ныне покойный, Руслан Орехов и другие.

После ряда беседований принял меня финальным просмотром тогда никому ещё не известный чиновник Сечин. Было это в маленькой каморке-кабинетике в Белом доме. Хорошо поговорили, выяснились пересечения биографий, в общем – подхожу. Через некоторое время – отбой, отвели меня.

Как я узнал позже, при опросе по старым местам работы приятель, работавший со мной в Администрации, куда я его когда-то рекомендовал, нашептал, что у меня неполадки в семье, что я плохо развёлся, в общем, аморальный тип. Кроме того, что это была явная ложь, я этого человека по жизни дважды очень здорово поддержал. Ну, а Контора, там традиции известны: от греха, на всякий случай меня отвели. Бывает. Бывало у меня и хуже. Не судьба, значит.

* * *

Я виделся с отцом последний раз в конце августа 2001 года на станции Коломна, они с мамулей провожали меня в Штаты. Тогда он тихо прошептал мне, чтобы мать не услышала: “Больше не увидимся”. Так и вышло.

Отец мой был удивительно красив. Физическая красота сочеталась в нём с открытостью, светлостью облика. Он сразу располагал к себе, не прилагая внешне никаких усилий. Есть такие счастливицы по жизни. Он не мог не нравиться женщинам, но никогда этим не пользовался, был однолюб, как Лёша Верный, или, скорее, Лёша, как он.

Мама рассказывала: лежала в роддоме с только что родившимся моим братом Колей, а женщины-соседки по палате, стоявшие у окна и глазевшие на улицу, стали звать её присоединиться:

– Римка, вставай, посмотри, какой мужик пришёл!

– Да некогда мне, видишь, я с ребёнком занята.

– Вставай, вставай, посмотри, может быть, такого мужика ты больше никогда в жизни не увидишь.

Уговорили, встала, подошла тоже к окну:

– Да это мой Витька...

Рукой махнула и вернулась к моему маленькому братику.

Я очень переживал в юности, что не был похож на отца. Потом, по мере взросления и погружения в реальную жизнь, понял, что для женщин это далеко не самое важное. Упреждая чьё-то хихиканье, скажу, что, на мой взгляд, для женщин, как я их понимаю, самое главное в мужчине надёжность и ответственность. Отец мой этими качествами обладал вполне.

Если бы не война, оставившая его, уже взрослого мужика, с четырьмя классами образования, да пять лет флота, да разруха и бедность, из которой ему с двумя детьми надо было выкарабкаться (он только в 40 лет получил высшее образование), быть бы ему на каком-то большом производстве талантливым инженером, конструктором.

Было у него ещё и другое качество, не способствовавшее этому, — он не был, в отличие, например, от меня, тщеславен, какая-либо карьера его абсолютно не интересовала. Он отказывался от предлагавшихся ему руководящих должностей в школе и на соседней, в Выропаевке, МТС, от предлагавшегося членства в партии, от нужных знакомств и т. д.

У него была врождённая, от Бога, любовь к всевозможной технике, и эта любовь была взаимной.

Земляки знают и помнят, что любые проблемы в машинах он читал на слух, чинил любую теле-радиотехнику. Появились цветные, импортные телевизоры, магнитофоны, комбайны — он и в них разбирался с лёгкостью. Когда я начал мотаться по чужим странам, старался привезти ему какую-то технически интересную мелочь: крошечный приёмник, ручку с лазером, электронные часы с всевозможными функциями — он радовался, как ребёнок, и всё норовил разобрать. А потом — собирал. Привёз я ему как-то прозрачную пластиковую карточку, на которой только цифры, и — всё. Калькулятор. Отец удивился, а потом расстроился: разобрать нельзя.

Простить себе не могу, что так и не успел купить ему персональный компьютер, они тогда только начали появляться, а отец уже смотрел в их сторону: что это такое, как бы с ними разобратся.

Служил он на Северном флоте, на крейсере “Чапаев”, и они на этом крейсере таскали через Баренцево море на ядерный полигон на Новой Земле “изделия”. Из полутора десятков человек из Подмосковья, с которыми он служил, большинство не дожили до 50–60-ти лет, у всех — онкология. В 60 лет у отца диагностировали рак. Лежал в “Мониках”, химия и т. д. — выкарабкался. Железный организм, заложенный в Андреевском на реке Коломенке, помог. Жил он ещё 12 лет до того самого, 2001-го.

Прибыл я в США за три недели до событий 11 сентября. Начал осваиваться в должности торгпреда и запланировал посетить Нью-Йорк, где у меня было отделение торгпредства, 11 сентября. Руководитель моего отделения звонил, готовился. Предложил посетить смотровую площадку башен-близнецов, заказать билеты. Согласился. На 9 утра 11 сентября. В последний момент встречаю в посольстве в Вашингтоне старого друга, военного атташе.

— Куда собрался? В Нью-Йорк? Завтра? Да ты что, у меня день рожденья! Не будешь — обижусь! Посылай всех..., завтра у меня.

Делать нечего, друг — это святое.

Звоню в Нью-Йорк, переносу визит на пару дней.

Утром 11 сентября началась эта знаменитая трагедия. Над Вашингтоном хорошо было видно самолёт, угнанный террористами, который потом рухнул в Пенсильвании. Над Пентагоном валил дым. Мы все тогда очень сопереживали американцам.

Вечером мне позвонили из Москвы: умер отец. Я звонил им почти каждый день, более того, они знали, я им говорил, что во вторник буду в Нью-Йорке, что буду на “близнецах”, что потом расскажу.

В Москве из-за разницы во времени страшные кадры из Нью-Йорка стали показывать во второй половине дня. Отец сел в большой комнате смотреть новости, мама возилась на кухне. Мама услышала крик отца:

— Мать, смотри иди, Нью-Йорк! Нью-Йорк! Нью-Йорк...

Когда мать подбежала, он уже не дышал. Не выдержало изношенное непростой жизнью сердце. Он был очень сопереживающим человеком, всем и во всём. Не думаю, зная его, что он переживал в тот момент обо мне. Он переживал об американцах.

На похороны меня не выпустили. Попытался помочь посол, попытался помочь Греф, звонил, сочувствовал, сказал, что подключал Касьянова, тогдашнего премьера — безрезультатно. Небо над Штатами и границы на несколько дней были закрыты. Я не увидел отца умершим, может, и к лучшему, он навсегда остался в памяти моей живой, улыбчивый, добрый, удивительно красивый человек. Я уверен, он умер за меня.

Мне рассказали потом, что таких похорон в наших местах больше не помнят. Отец больше 30 лет учительствовал, родился в поле на этой земле, пахал её, обустроивал, жил с ней и с жившими на ней. На кладбище пришли из всех соседних деревень и старики, и детвора, и из Коломны, из Щурова, из Городищ, где знали его.

Отец не верил в Бога, но его, как крещённого в детстве, отпевали в Андреевской церкви, где крестили его, где крестили, венчали, отпевали его деда,

прадеда, прапрадеда. Он по жизни, по делам своим был более верующий, чем те, кто разбивают об пол лбы, а потом, выйдя из храма, забывают о том, ради чего они там были. Вечером после похорон, как мне рассказывали мама, брат, старшие сыновья, Лида Чернова, налетела страшная гроза, шквал, ломало сучья, срывало шифер с крыш. Думали, что разметает по кладбищу гору венков и цветов на могиле отца. Приехали утром – всё стоит нетронутое, будто и не было ничего, а вокруг сучья наломанные валяются.

Похоронили его на горе, на красивом Андреевском погосте, откуда видна долина Коломенки и поля, которые мальчишкой он пахал на стареньком “Фордзоне”. Вот там, рядышком, в мой час похороните и меня.

* * *

Горькие и, наверное, не очень изящные строки стихотворения о “последнем солдате империи” были навеяны мне в исторических стенах авиабазы Эндрюс под Вашингтоном. Там неоднократно, в числе других руководителей российских представительств в США, мне приходилось, иногда по несколько часов, ждать прилёта из Москвы “руководящего рейса” с начальством на борту.

Сама обстановка располагала к тому, чтобы вспомнить о прилетавшем сюда в мае-июне 1990 года Горбачёве, о его переговорах здесь и в Вашингтоне. Говорили мне об этих событиях и наши старожилы-дипломаты, но для меня более важным оказалось знакомство с высокопоставленным американским чиновником.

Знаю прекрасно все его данные, но даже намекать не буду, чтобы не подставить человека. Он участвовал в тех переговорах в силу специфики своей работы и должности, знал всё или почти всё по этой теме. Назову его Джонсон. Были две вещи, к которым я относился осторожно, но потом поверил (и проверил).

Джонсон крайне негативно относился к американскому истеблишменту, хотя, по сути, к нему принадлежал, и симпатизировал России. И к тому, и к другому, как оказалось, у него были очень серьёзные основания, но их я тоже не назову. Если его поведение вначале я расценивал как классический вербовочный подход, то к концу моего трёхлетнего пребывания в Штатах сомнений в отношении Джонсона у меня не было.

По существовавшим в Союзе гласным и негласным жёстким правилам Горбачёв не мог оставаться с американцами наедине без сопровождения нашими сотрудниками. Горбачёв оставался, в том числе на базе Эндрюс. Что там происходило, наши не знали, словам Горбачёва уже тогда верить было абсолютно нельзя, а Джонсон – знал. Я запоминал и записывал потом эти сведения.

Если кратко, то именно тогда, на Эндрюс и в Вашингтоне, со слов Джонсона, были оговорены и подтверждены материальные гарантии под предательство Горбачёва и компенсации ему, если что-то пойдёт не так. Оттуда растут, со слов Джонсона, и Нобелевская премия и финансирование Горбачёв-фонда с численностью почти в тысячу человек, и лекционная карусель, и виллы, и лечение, и содержание. Параметры 30 сребреников были определены тогда и там, детали потом дорабатывались на более поздних встречах с лидерами Запада.

На мой взгляд, вопрос предательства Горбачёва, при всей его очевидности и исторической мерзости, не самое главное в тогдашней, да и нынешней исторической ситуации.

Умница Джонсон считал, что Запад, купившийся во многом фантастическим для него подарком в виде Иуды во главе государства – основного геополитического противника, – утратил способность по-настоящему стратегического мышления и пропустил исторический шанс построения нового, более справедливого, более безопасного, более отвечающего чаяниям человечества миропорядка.

Победили, как я уже говорил, неуёмная и бесперспективная жажда мирового господства, страсть к наживе, деление людей на сорта и многие другие родимые грехи человечества. За эту стратегическую ошибку Запад сейчас начинает расплачиваться. Они повесили друг на друга медали за победу в “холодной войне”, объявили себя особой нацией и стали править, не имея на это

ни морально-нравственного, ни формального права. Сотни тысяч, миллионы загубленных жизней на просторах бывшего Союза, на Ближнем Востоке, в Африке никто не считал и не принимал во внимание.

Я говорил американцам: “Победить в “холодной войне” — это то же, что обладать женщиной по телефону: те же “ой!”, “ай!”, но — по телефону”.

Кто-то злился, а кто-то, поразмыслив, соглашался. Джонсон же называл медаль за победу в “холодной войне” медалью дураков. Меченый тоже получил эту медальку. Заслуженно. Он ничем не гнушался: дают — беру. Называю его Меченый не из желания оскорбить или обидеть. Просто у преступников обычно бывают клички.

* * *

Похожим политическим интимом, но, думаю, в других целях, занимались часто приезжавшие в Вашингтон в начале 2000-х Кудрин и Греф.

Они пропадали у американцев без какого-либо дипломатического сопровождения, без нашего переводчика (оба не знали языка), никого не информируя: куда, к кому, на какой срок.

В любом случае, посол отвечал за них. Ушаков, жёсткий и властный профессионал, требовал от меня:

— Где твой министр? Ты должен это знать! Когда и где он будет, куда он пропал?!

— Сам в изумлении, Юрий Викторович, такие теперь вот манеры. Они же не сами по себе так себя ведут...

Я подозревал разное, думаю, что и Ушаков; а сейчас я полагаю, что Путин уже тогда вёл свою политическую шахматную партию. В частности, демонстрируя сверхлояльность и доверительность.

Как-то, год спустя, после завершившегося в Бостоне экономического форума, мы провожали Грефа из Нью-Йорка в Москву. Самолёт задерживался, зашли в ресторанчик, взяли сухого и покушать. Были Греф, я, директор департамента Ашот (армянин), начальница пресс-службы (полячка) и ещё женщина молдавской национальности. Греф знал, что у меня есть родственники в Германии, что говорю свободно, да ещё по согласованию с ним я возил из Вены к его родителям в Германию Гарри Минха, который тоже, наверное, что-то сказал. Короче, посчитал Греф, что я тоже немец. Настроение у него прекрасное, шутит, женщины симпатичные, устриц подали, которых я терпеть не могу, и вдруг говорит: “Как хорошо, что среди нас нет русских!” Народ за столом подхихкивает. Что ж, думаю, тоже национальная идея, и говорю:

— Герман Оскарович, я — русский.

За столом — тишина, как в “Ревизоре”, с минуту. Умница Ашот прервал, стал какую-то ерунду рассказывать, но вечер уже был испорчен окончательно.

Не заладились у нас после этого случая отношения с Германом Оскаровичем. Да их, особенно, и не было. Он делал своё дело, а я — своё.

* * *

Очень краткая, но ещё одна, в какой-то степени, тоже личная встреча с Путиным у меня состоялась там же, в Вашингтоне. Мы, дипломаты, стояли в линейке встречающих Президента. По трапу спускается Президент, за ним Ушаков, Путин жмёт руки. Солнышко, лёгкий ветерок. Видно, что В. В. перед поездкой подстригся, но парикмахер или парикмахерша не доглядели на макушке один длинный светлый волосок. Ветерок его поднял, солнышко подсветило — ну, прям маленькая блестящая антенночка. Улыбаюсь и думаю: ну, Владимир Владимирович, раскрыл я вас, вы — инопланетянин. Он подошёл, протянул руку и тоже улыбнулся. Узнал, память у него шикарная. Чуть задержал рукопожатие, мы обменялись понимающими взглядами, как бы говоря: “Вот, видишь, я теперь президент... — Вижу, рад за вас, а я вот тут торгпредом подвизаюсь. — Да, да, Вену помню. Ну, пока...”

Встречал его потом уже только в составе каких-то делегаций, мероприятий, не лично. Тем не менее, я существенно расширил своё восприятие этого человека, мнение о нём за счёт дел, событий, людей, связанных с Путиным,

в которых мне довелось участвовать, присутствовать, работать бок о бок. Я никогда не был фанатиком чего-либо и кого-либо, мне импонирует еврейский подход: не брать ничего на веру. Моё мнение об этом человеке развивалось вместе со мной. Поделюсь в общих чертах.

Сразу расставляю точки над “i”: нам, России и народу нашему, с ним повезло. Тут, я думаю, последователи моды критиковать Путина среди определённой части определённой интеллигенции отвалятся. Не спешите, не всё для вас потеряно.

Следующий посыл, в котором я уверен на 99% (1% всегда оставляю Богу), Путин – очень редкий тип политика, который искренне любит свою страну и свой (российский) народ. Почему редкий? Да потому, что – политика.

Политика – это власть и деньги. И то, и другое – безнравственно, ибо власть в любой форме – насилие одного человека над себе подобными, а деньги – это основной инструмент того же насилия и изощёренного обмена себе подобными. И за деньгами, и за властью торчат уши лукавого, поэтому притягивают они к себе зачастую не лучших представителей рода человеческого. Сохранить в змеиных ходах – коридорах политики – человеческую сущность, человеческие качества – крайне сложно, это удел уникальных по гибкости ума, сложности характера, душевной организации личностей. Политика – одно из главных средоточий человеческих пороков. Среди них основной – ложь. Ложь в политике многослойна, многовекторна, обёрнута в правду, полуправду или в то, что от неё осталось. Невидимая, непрозрачная часть этого понятия значительна, кратно больше того, что представляется публике, обществу.

Поэтому, когда мы критикуем слева и справа лидера, с которым нам повезло и который искренне желает сделать нашу страну, нас с вами сильными, процветающими, справедливыми, попытаемся понять и представить себе эти змеиные ходы и эту кислотную среду, в которой ему приходится – нет, не жить – воевать. Сможем?

Я бы, без обиды, привёл такую маленькую притчу “восемнадцать плюс”.

Представьте, в средней группе детского сада сидят на горшках Маша, Петя и Вова и обсуждают, откуда берутся дети. Маша – в капустке находят, Петя – журавлик приносит, а Вовочка и говорит: дураки вы все, мамка с папкой трахаются, вот и дети рождаются. Машенька – в плач, на который заходит нянечка, тётя Валя, женщина с тремя детьми от разных мужиков и пятью абортми. Узнаёт, в чём дело, хлопает Вовку по попе – сам дурак, и подтверждает Машенькину версию о капусте. Успокаиваются детки, а тут за Машей приходит дедушка, доктор наук, профессор гинекологии, знания которого об обсуждаемом процессе несопоставимы с бурной практикой тёти Вали.

– Я, – говорит он Машеньке, – завтра тебя забирать не буду, заберёт мама, а я, внученка, улетаю на конгресс гинекологов в Женеву.

Машенька из этого поняла только первую часть и расстроилась: она любила дедушку. Ну, а дедушка улетел туда, где собрались дедушки ещё покрупче в его специализации, – в общем, смысл понятен. Так вот, большая часть человечества в вопросах, пружинах, механизмах большой политики и финансов сидит на горшках.

Предвижу, что материально заинтересованные – иных я не встречал – защитники Горбачёва определяют меня в самую массовую по этой притче категорию. Ну-ну. Вашего-то патрона уже с той самой поездки в США, в 1990-м, перестали информировать об определённых вещах, понимая, что сольёт на Запад. А что касается места, то мне, как говорит Шаманов, фиолетово, я на любом месте готов Родине послужить.

Так вот, мои сомнения в правильности действий В. В. с годами трансформировались в оценки прямо противоположные. Ругая вместе с армией Сердюкова, я теперь понимаю и знаю, какая блестящая была проведена операция прикрытия восстановления армии. Расстраиваясь по поводу прозападной элиты, я теперь понимаю десятилетней давности слова В. В. по поводу “замучаетесь пыль глотать” и его действия. Думаю, что подобно Васькиному Абу, Путин держал и пока ещё держит своих политических Абу, которых, когда нужно было, он мог демонстрировать вашингтонскому обкому: смотрите, вы меня ругаете, а у меня вот Абу сидят. Ваши, между прочим, Абу. Я сейчас совершенно по-иному вижу уже и Трампа, и Клинтоншу, и дело Скрипалей... Заговорился, а то предисловие “грифовать” придётся.

Для меня очевидно, что Путин — великий политический шахматист, и распиаренный Бжезинский с его шахматной доской, по сравнению с Путиным, — сельский любитель. Вот, кстати, что сказал о Бжезинском в своём интервью в 1992-м очень умный и интересный дядька Джордж Буш, разумеется, старший: “Вы про Бжезинского? Деревенский дурачок Джимми (Картер. — Б. М.) в политике не мог отличить яблока от коровьей лепешки, и поэтому слушал идиотов и клоунов”.

Буш, опять же, кстати, негативно оценивал крушение Союза, утрату исторического для Запада шанса и предвидел события на Украине. В том же интервью он сказал: “Те, кто меня победили (носители “медали дураков”. — Б. М.), хотят только грабить (как точно! — Б. М.). Русские этого не забудут и когда-нибудь пришлют нам ответный счёт”.

Уже послали.

Что меня угнетает и настораживает. Не может быть, не должно быть так, что в богатейшей стране мира с работающим, умным, талантливым народом, получившим большую часть наследства ушедшего Союза, темпы экономического роста двадцать с лишним лет были самыми низкими, по сравнению с нашими бывшими соседями по Союзу.

У меня одна из профессий — экономист, но я жалкий дилетант в сравнении с теми специалистами, в том числе академиками, с которыми доводилось обсуждать эту тему. Многого говорилось, но особенно интересна и показательна фраза, сказанная в прошлом одним из “чикагских мальчиков”, человеком публичным, занимающим высокий пост (нет, это не Глазьев). Он сказал: “Наше правительство экономическими методами сдерживает экономическое развитие России”.

Или я чего-то ещё не понимаю, что, вполне возможно, или в моей шахматной формуле есть серьёзные изъяны. Время покажет.

* * *

Завершу по Америке (США), как же без “гегемона”. У них, жителей США, кстати, не только своего языка, но и названия своего нет, американцы — это не про них, не только про них, это и чилийцы, и мексиканцы, и аргентинцы и т. д. по списку. Называть их “штатники”? Как-то коряво. Остановимся всё-таки на том, что прижилось.

Я с уважением отношусь к американскому (США) народу, но не с большим или меньшим уважением, чем к тем же, например, чукчам или арабам горного Йемена. Я не считаю американский народ исключительным, но считаю идеологию и практику американской политической элиты на тему этой исключительности интеллектуально изощрённой, замаскированной, а потому особенно опасной формой фашизма.

Это идеология сверхнации, хозяев мира, идеология ранжирования стран и людей по сортам, это идеология пахана на зоне, который за своих порвёт глотку, а остальные — быдло, рабочий скот, призванные на него работать.

Я невысокого мнения об интеллектуальном, а особенно о морально-нравственном потенциале нынешней американской политической элиты.

Историческое испытание 1990-х годов было не только и не столько для России, сколько для Запада и, прежде всего, для США. Они это испытание не выдержали. Они, за редким исключением (тот же Буш-старший), не увидели и не оценили уникальный исторический шанс в построении более разумного, справедливого, безопасного миропорядка, а бросились добивать, как им казалось, уже не способного возродиться медведя. Попирая при этом своим пренебрежением к страданиям, горю, несправедливости, гибели миллионов “чужих” людей свои собственные декларируемые принципы, права и свободы. Считая, что эти права и свободы — только для своих, тем самым на годы, десятилетия убив у миллионов людей по всей планете веру в существование общечеловеческих ценностей.

Их уровень стратегического мышления — это уровень клоуна, прошедшего “парадом победы” по Красной площади, и бабушки Клинтон, носившейся с оформлением “медалей дураков”. Их умственный потенциал до последнего времени, точнее, потенциал их талантливых предшественников, был хорош для отжатия средств у соседей по планете, но и эта тема для них заканчивается.

Они сейчас, американская политическая элита, теряют власть над миром, да и, по большому счёту, её никогда и не было. Было воспалённое от предвкушений воображение “победителей в “холодной войне”” и их прикормленных вассалов. Но в этой иллюзии мирового господства они живут, верят в неё и будут цепляться за неё до последнего. Они, эта нынешняя элита, просто не способны мыслить по-другому.

Поэтому я уверен, что если начнётся ядерная война (не дай Бог!), то, за исключением случаев трагически фатальной техногенной ошибки, что маловероятно, но возможно, начнёт её фашиствующая американская политическая элита, которая ради своих претензий и иллюзий всегда была готова уничтожить менее ценную, на её взгляд, часть человечества. Тем более, в условиях, когда она теряет своё господство даже там, где раньше властвовала безраздельно. Тем более, питая иллюзорную надежду, что она отсидится за ПРО в своих бункерах и с любопытством посмотрит потом, что с нами, неполноценными, стало.

Пусть они думают, что они – охотники.

Мы на наших пространствах (спасибо предкам) выживем. Не все, но выживем. И уже не я, но такие, как я, как мой инструктор, как Васька, Санчо, Ильяс и другие, пройдут через Сибирь, переправятся на подручных средствах через Берингов пролив и доберутся до горла тех, кто это сделал. Никакие бункеры не помогут.

Я не последний солдат Империи. Это просто поэтическая метафора. Нас много. Достаточно.

* * *

С красавицей Веной и с моим любимым Андреевским у меня связан ещё один эпизод.

Среди многих, нажитых в Вене, друзей есть замечательная пара Алёнка и Роберт. Встретились они в Ленинграде в 1990-м.

Алёнка – красавица, никакому Роберту не устоять, молодость, любовь. Уехали они в Вену, где я с ними и познакомился, родили двоих замечательных детишек. Мотались между Питером и Веной и заехали, наконец, к нам.

Роберт называет себя австрийцем, но внешне – немец немцем. Я его подначивал:

– На тебя, – говорю, – известную каску М40 надеть – так точно персонаж из фильмов.

Обижался:

– Я, – говорит, – австриец.

Роберт полюбил Россию так же искренне и нежно, как свою Алёнку, и не всякий наш так относится к своей стране, как он к России. По миру я таких людей встречал немало, тянутся к нам, несмотря ни на что.

Показали мы им Москву, Коломну, приехали в последний день за экзотикой в Андреевское.

Лето, жара, июль, пошли на Коломенку купаться. Вода ледяная, но ребятня счастлива, не выгонишь, прыгают с местными на тарзанке, причём никто из детворы не обращает внимания, что двое из них говорят по-немецки...

Тут вспомнил я о Санчо, что, думаю, ему, если он в Лысцево, 3-4 километра сюда идти. Звоню: так и так, Вена, гости, загляни. Он дома, готов:

– Что, – говорит, – для бешеного пса семь верст? Буду.

Минут через 40 на гребне берега над нами появляется Санчо. Он в пластиковых шлёпанцах, в холщовых штанах на верёвочке и в майке с надписью типа: “Служил я в Красной армии”. Зато бицепсы видны, а бицепсы у него серьёзные.

– Вот, – говорю, – знакомьтесь, мой друг Саша, с горочки спустился.

Роберт по-европейски счастливо улыбается. Естественно, картавит и на ломанном русском приветствует Санчо:

– Здгавствуйте, гады вас видеть.

Ему в ответ на чистом хойдойче приветствие и, пока он ещё не опомнился, на том же чистом немецком шикарнейший комплимент его супруге с целованием ручки и с извинением в адрес моей жены за комплимент другой женщине. Но она также неотразима, как и все русские женщины, и наша гостья в том

числе, поэтому Роберт не прогадал, но с ними, русскими женщинами, надо всегда быть настороже.

Алёнка растерянно глядит на меня: на каком языке отвечать? У Роберта лёгкий ступор, а Санчо продолжает в том же духе:

— Как вам Россия вообще и Коломенка, в частности? Ах, какие детки, настоящие немчики, у нас в Лысцево тоже такие есть. А слышали вы там, в Вене, такой анекдот? — Идёт анекдот.

— А вот такой? — Идёт ещё один анекдот, но уже на грани фола.

— Ну, мне пора, хозяйство, знаете ли, корову подоить надо.

Опять идёт целование ручек. Моя Ксюша не знает немецкого, но знает Санчо, видит комичность поз и не сдерживает смех.

Говорю Санчо, конечно, на русском:

— Ты, брат, вечером часам к семи подгребай, Каштан приедет с Ниночкой и гитарой, посидим, ребята ночью уезжают в Москву, самолёт рано утром.

Санчо отвечает и из всего его прозвучавшего практически монолога на немецком языке только последнее слово он произносит по-русски:

— Яволь, майн хер.

Взлетел Санчо наверх, на берег, только его и видели.

Роберт приходит в себя:

— Миша, кто это быть? Ты это нарочно наделал?

— Да нет, — говорю, — ничего я специально не делал. Тут у нас по Коломенке такие мужики живут.

Вечером собрались за столом. Тосты, гитара, пока ещё русские песни. Каштан в ударе. Я кручусь вокруг стола, обслуживаю гостей, пить мне нельзя. Вижу, как Алёнка отодвигает от Роберта очередную рюмку и тихо, но строго говорит ему по-немецки: “Не пытайся пить с ними наравне. Бесполезно”. Алёнка не только красивая, но и мудрая.

К ночи над Коломенкой уже загремели немецкие песни, мы учили Роберта маршу немецких коммунистов “*Einheitsfrontlied*”.

Настала пора уезжать. Усадил я гостей в машину и не поехал сразу на шоссе, а поднялся на гору над озерами, где до сих пор есть родник деда Кузьмы. Андреевские знают. Одно из красивейших мест рядом с селом. Июльская тёплая ночь, как на картине Куинджи. Тонкий слой тумана над тремя озёрами и широкой речной долиной, уходящей вдаль. И над этим туманом плывут тёмные купола ив. Луговая трава по пояс, ночные запахи лета. Алёнка постояла-постояла, перекрестилась и встала на колени. Смотрю, слезинки и у неё, и у Роберта. И мне что-то грустно стало. Так до Москвы и молчали. Наговорились уже.

* * *

Не торопите жизнь. Впереди старость, страдания и забвение. А день нынешний, как бы он ни казался заурядным и неудачливым, великолепен самой возможностью жить, любить и творить.

Пробежал рукопись, написал вроде бы много, а вышло так, небольшие штрихи о большой, сложной и интересной жизни. Даст Бог, закончу ещё одну, давно теребимую, серьёзную и сложную вещь. Пока, похоже, получается. Ну, что будет, то будет. Ещё пару штрихов в завершение моего “предисловия”.

Одно из моих любимых занятий в этой жизни — бродяжить и размышлять. Так, хаживал я по коломенским полям и весям, по бережку Индийского океана, мимо манящего аромата венских кофеен, по клавишным тротуарам Вашингтона, по ванильным переулкам Замоскворечья.

Каждый более-менее думающий человек создаёт для себя картинку мира со своими собственными объяснениями происходящего. Я имею в виду не космические дали и физический мир, а общественно-политическое и экономическое устройство человеческого общества.

Как правило, такая картинка берёт за основу одну из существующих глобальных идей, и к ней наращивается своё “я”. Идя по жизни, меняемся мы, меняется наше отношение к миру и объяснение мира.

Живу я давно и пришёл к выводу, что, чем дольше живу и более владею информацией, тем меньше уверенности в понимании этого мира, места и роли в нём человека, его сущности и назначения. А старые схемы и идеи уже

кажутся наивными. Так и в мире: идей много, а идеи нет. Мы подошли к кризису глобальной идеи развития.

Капитализм — увольте! Социализм дискредитирован и, во многом, по делу. И продолжает дискредитироваться; что, в Китае социализм?! Теория конвергенции — в ней что-то есть, она опирается на эволюцию, а не на революцию, мне лично это импонирует. Но опираясь на то, что уже не ново, она сама становится днём вчерашним.

Видимо, придётся подождать, пока не родится какой-нибудь еврейский мальчик, который укажет новое направление глобальной идеи организации человеческого общества. Впрочем, это может быть и в шатре бедуина, и в украинской мазанке — неисповедимы пути Господни. И всё-таки — Бог.

Скажите: сдался. Нет. Я буду продолжать мыслить, пока это будет возможно. Кроме того, у меня по жизни есть два наставления от деда Николая, которыми я старался руководствоваться. Он высказывал это неоднократно мне, ещё пацану, поэтому запомнилось навсегда.

Первое: “Я понимаю, что не смогу знать всё, но я всегда буду говорить себе, что буду знать всё”.

И второе: “Каждый порядочный человек должен уметь делать всё, тем более русский интеллигент”.

Я бы в последней фразе поставил не русский, а российский.

* * *

Есть такая женщина: милая, добрая, обаятельная, порядочная. Трудно с ней бывает, очень трудно, но уж если вам так повезло, что она с вами, терпите, общение с ней бесценно. Вот только шутить, лукавить с ней не надо даже самым крутым мужикам, особенно политикам. Потеряете всё. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра имя ваше, которое вам нравится, которое вы холите и лелеете, надеясь передать потомкам, будет втоптанно в грязь. Справедливость её зовут.

В мире в целом и в России, в частности, а, скорее, в России в особенности слишком высок и продолжает возрастать уровень несправедливости. Имущие власть и деньги не могут остановиться. Моё поколение, уходящее поколение, не может с этим справиться, оставляя эту проблему идущим после нас.

У меня есть много молодых коллег и друзей. Назову некоторых из них, и, если кому-то моё упоминание не понравится, простите.

Это Серёжа Ходырев, Коля Платонов, Глеб и Катя Никитины, Миша и Наташа Куцик, Ильяс Ягофаров, Андрей Соколов, Настя Бондаренко, Серёжа Юров, Катя Башлыкова, Наташа Лютая, Илюша Казенкин, Ваня Блохин, Артём Гарибян, Паша Волков, Серёжа Казаков, Слава Ищенко и ещё многие другие, в том числе те, кого назвать не могу. Называю их по именам, они все мне в дети годятся. Им нет и сорока или чуть за сорок, для политики — юношеский возраст. Они умны, даже очень, вполне сложившиеся, самостоятельные, имеющие обо всём своё мнение, не нуждающиеся уже давно в моих советах, тем более, помощи.

Это они, точнее, их поколение прибирает к рукам во всех сферах управления нашей экспериментальной страной. Это они получают от нас проблемы, которые мы не решили, а решать им.

Мне нечего и незачем им что-то советовать в напутствие. Уже незачем. Впрочем, один совет дам. Не думайте, глядя на нас, что так можно. Вы понимаете, о чём я говорю.

И — просьба: берегите эту мистическую страну. Почему мистическую?

Да потому, что, по всем канонам — историческим, экономическим, политическим, этническим, военным, географическим и проч. — её не должно быть. А она — есть. И — будет.

* * *

Наверное, немного о личном.

Личная жизнь у меня была сложная... А у кого-то она бывает лёгкая? Потому, почему была? Быть мужем умной и красивой женщины — задача и сейчас не из лёгких.

Хотел упомянуть про какие-то ошибки и сам же вспомнил, что ни о чём и ни о ком не жалею, кроме авиации. Да и какие ошибки, если у меня два замечательных взрослых сына Иван и Дмитрий. С ними я никогда не расставался. И не расстанусь.

Я думаю, не бывает ошибок в жизни вообще и в личной, в частности. Есть трудности, за которыми стоит Божий промысел и Его любовь к нам. Оглянись и поразберишься в них честно. Окажется, что они помогли тебе.

Действительно прав был гений: всё, что не убивает нас, делает нас сильнее. И счастливее в итоге.

Думаю, что настоящая любовь – это чувство от Бога, привлечь, создать её самим невозможно.

В жизни легко влюбиться. Сложнее, но никто этого не избежит, полюбить. Но очень сложно встретить и любовь, и человека, который составит часть твоей жизни, твоей души.

Мне не сразу, но повезло. Произошло это на излёте моего, XX века.

Встретил я свою половинку, чего и вам желаю, а если встретили уже – дорожите, берегите этот Божий поцелуй.

Зовут её у меня, конечно, Ксения.

Уважая и почитая Его заповеди, нажили мы с ней четверых сыновей. С ними, думаю, тоже повезло.

Никите, нашему с Ксюшей первенцу, чудесные 18 лет, и этим всё сказано. Ну, этот единственный недостаток быстро проходит.

Интересно, что младшая детвора удивительно похожа на своих крёстных.

Вовочке уже пять, это Шаманов-Шаманов, даже внешне такой же.

Серёженька, первоклассник, мы его зовём “профессор”, такой же умница и всезнайка, как Наташа Куцик и Серёжа Ходырев.

Витя – это Васька. Такой же, как бы это сказать помягче, спортивный характер. Десять лет, а уже на девочек поглядывает. Да... заложил я тебя, Василий Михайлович.

Венчались мы с Ксюшей, конечно, в Коломне, в Ново-Голутвином монастыре. Венчала нас ангел-хранитель нашей семьи, чудесная матушка Ксения, настоятельница монастыря. Она сама уже стала достопримечательностью Коломны (простите меня, матушка, за такое сравнение).

Свадьба наша с Ксюшей тоже была в Коломне, в Коломенском кремле. Жених я был уже не юный, и гости собрались соответствующие, солидные, начальники, генералы. Большинство – с жёнами. Не поленились из Москвы приехать по пробкам, спасибо этим добрым людям.

Свадьба в разгаре, произносит Санчо тост. Тост хороший, душевный и голосище у него отменный. А в завершение как рявкнет: “Женщины и гомосексуалисты пьют сидя!” Так все тётки тоже повскакивали. На всякий случай.

Ну, вот и всё.

Спасибо, мои дорогие, за то, что вы были в жизни.

Спасибо вам, живущим, и вам, кого уже нет с нами.

Увидимся.